

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

СЛОВО О НЕУТЕШНЫХ
ЖЁНАХ (СБОРНИК)

Георгий Баженов

**Слово о неутешных
жёнах (сборник)**

«Баженов Георгий Викторович»

2006

ББК 84(2РосРус)6

Баженов Г. В.

Слово о неутешных жёнах (сборник) / Г. В. Баженов — «Баженов
Георгий Викторович», 2006

ISBN 5-7117-0125-8

«Слово о неутешных жёнах» – это страстное слово писателя Георгия Баженова в защиту любви, самоотверженности, искренности и правды человеческих отношений. Слово пронзительное, поэтичное и глубокое! Манера автора – в органичном сочетании бытовой и психологической достоверности с напряженностью социально-нравственного поиска. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 5-7117-0125-8

© Баженов Г. В., 2006

© Баженов Георгий Викторович, 2006

Содержание

Вариации на тему любви	5
Сёстры	26
Глава 1	26
Глава 2	35
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Георгий Баженов

Слово о неутешных женах. Сказания

Вариации на тему любви

I

На Урале, в поселке Северный, на улице Миклухо-Маклая, произошло невероятное событие: Дуся Комарова зарезала мужа. Дело было так: Коляй вернулся домой, Дуся сидит за столом с двумя мужчинами. Одного, естественно, Коляй хорошо знал – это был их участковый, старшина милиции Павлуша Востриков, второго Коляй видел впервые. По случаю полочки Коляй был навеселе и мог бы, конечно, присоединиться к компании, но иногда его захлестывала ревность, тем более что основания для нее Дуся Комарова порой давала. Вот почему Коляй с порога завелся:

– Я сегодня в гости приглашал кого-нибудь или нет? – Ревность Коляя распространялась не столько на Павлушу Вострикова, сколько на незнакомого мужчину: тот был хорош собой, крупный, бородатый, с ясными глазами, с доброй улыбкой.

– Ты чего это? – напустилась на Коляя жена.

– Я не тебя спрашиваю. Я спрашиваю Павла Ивановича. Я приглашал вас сегодня в гости, Павел Иванович, или нет?

– Да ты садись сначала, – добродушно показал на стул Павлуша Востриков. – Сейчас разберемся...

– Так вот, в гости я вас сегодня не приглашал, – заключил Коляй. – А поскольку я сегодня выпил, то, как хозяин, не хочу, чтобы посторонние люди видели меня в собственном доме в нетрезвом виде.

– Ты смотри у меня, хозяин! – прикрикнула Дуся.

– Я ясно выразился или не очень? – гнул свою линию Коляй.

Павлуша Востриков переглянулся с незнакомым мужчиной. Зашли они не совсем просто так: Павлуша Востриков, если положить руку на сердце, хотел показать приятелю Дусю – во-первых, красавицу, во-вторых, красавицу, с которой в молодости водил амуры, в-третьих, почему бы не посидеть за хлебосольным столом, тем более и хозяин вот-вот должен вернуться с работы? А к нему у них было небольшое дело.

И вот – вернулся.

– Значит, выгоняешь? – набычился Павлуша Востриков.

– Выгонять – не выгоняю, а в гости сегодня я никого не приглашал. Или, может, за мной что темное водится? И вот вы пожаловали по мою душу?

– Нет, темного за тобой пока ничего не водится, – с угрозой в голосе, но и с обидой одновременно произнес старшина. Он особенно выделил вот это слово – «пока». – Пошли, Степаныч!

– Павел, Илья Степанович, куда вы? – заметалась Дуся Комарова. – Господи, нашли, кого слушать! Да я ему!.. – Она так сверкнула глазами в сторону Коляя, что в другой момент он наверняка поджал бы хвост. В другой – но не в этот. Коляю всегда хотелось одержать верх над Павлушей Востриковым, потому что Павлуша – власть, а Коляй – ничто, зато у Коляя есть красавица жена, Дуся, а у Павлуши – шиш с маслом. Так что в намерении сегодняшнем выставить Павлушу из собственного дома Коляй был тверд.

– Пошли! – Павлуша Востриков резко поднялся с табуретки, надел фуражку с околышем и, ни на кого не глядя, направился к выходу.

– Ну, бывайте здоровы, хозяева! – Тот, которого называли Степанычем, тоже поднялся из-за стола, добродушно улыбнулся – усмехнулся и пошел следом за Павлушей Востриковым.

– Илья Степанович! Павел, ну ты-то! – пыталась еще остановить их Дуся Комарова.

– Идите, идите, не кашляйте! – вслед им торжественно-воинственно проговорил Коляй. – Да чтоб без хозяина в дом больше не шастали!

И когда гости вышли, в доме, естественно, воцарилась мертвая тишина. Тишина эта больше всего и насторожила Коляя.

– Вот так-то! – решительно, будто вбивая гвоздь по самую шляпку, крикнул Коляй.

Лучше бы, наверное, он совсем ничего не говорил, потому что после его слов Дуся взвилась как ненормальная.

– Ты это что тут раскомандовался? Ты что это себе позволяешь? Люди пришли как люди, посидеть, поговорить, а ты, как пес шелудивый, с рычаньем на них? Позорить меня вздумал?! Налил шары бесстыжие – и на людей бросаться?! Да я тебе...

– Молчать! – вдруг истошно, непохожим на себя голосом взвизгнул Коляй.

– Что-о?.. – Дуся поднялась в своем крике на одну ноту выше. – Что ты сказал? Ну-ка, повтори!.. – Уперев руки в крутые бедра, Дуся с грозной усмешкой пошла на мужа.

– Молчать, потаскуха! – Коляй в неистовстве затопал ногами.

– Это я – потаскуха?! Я, Дуся Комарова, мать твоих детей, – потаскуха?! Я, которая день и ночь колотится по дому, которая света белого не видит, чтоб вас, засранцев, обстирать, накормить и чистыми спать уложить, я – потаскуха?! Я, которая себя не помнит, я, которая всю себя положила, чтобы вам... да я... и это я – потаскуха?!

– Ты, ты потаскуха! – Коляй и не думал отступать. – Мало в девках гуляла, мало мужиков через себя пропустила, так еще и теперь с Пашкой шашни заводишь? Думаешь, не знаю про ваши амуры? Думаешь, не понимаю, чего он к нам шастает? Мало – сам ходит, так еще одного кобеля за собой тащит? Жить тошно, на вас глядячи, бесстыжие вы рожи!.. Стерва ты, стерва, потаскуха, сучка подколесная!..

Тут Дуся будто споткнулась, остановила свой шаг, опустила руки с бедер, зашарила ими по фартуку, словно ища чего-то, но, не найдя, стала оглядываться заполошным взглядом по сторонам. И тут она увидела нож. Метнувшись как кошка к столу, за которым только что сидели гости и сидела она сама, на котором еще дымились картошка, сахаристо поблескивали четырехгранники нарезанных помидор, стояли недопитые стопки, Дуся схватила огромный, острый как бритва нож и с отчаянным воплем бросилась на мужа.

Этого, пожалуй, он не ожидал. Дуся, конечно, всегда отличалась горячностью, диким норовом, безрассудством, за что ее и любили мужики, за что когда-то полюбил ее и Коляй, но чтобы броситься на мужа с огромным кухонным ножом – этого Коляй не ожидал. Что и сыграло решающую роль. Не готовый к отпору, Коляй не удержался на ногах (Дуся налетела на него как ветер) и опрокинулся навзничь, на спину. Дуся навалилась на мужа.

– Ах, так я потаскуха!? Я стерва!? Я сучка подколесная!? – И пыталась полоснуть ножом по горлу.

Сопrotивляясь, Коляй хватался обеими руками, голыми ладонями за лезвие ножа, не чувствуя и не обращая внимания, как боль обжигает пальцы, из которых ручьями текла кровь; но руки – ерунда, хуже другое – Дуся сумела-таки полоснуть по горлу, и из глубоко надрезанной артерии Коляя трубой повалила кровь. Глаза Коляя подернулись поволокой, он медленно разжал руки, захрипел, хотел сказать что-то, но, видно, не мог, и Дуся наконец осознала, что наделала, вытаращила в ужасе глаза и закричала истошным криком.

Этот-то крик и услышали Павлуша Востриков со Степанычем – от дома они отошли всего ничего – и бросились к Комаровым. Павлуша как профессионал ворвался в дом первым: на

полу, залитый кровью, лежал Коляй, над ним на коленях, с ножом в руке, с безумно расширенными зрачками, стояла Дуся.

Коляй был мертв. Хотя и лежал с открытыми, молодыми, удивленными глазами.

До суда Дусе Комаровой разрешили жить дома.

Каждый день, повязавшись черным платком, прихватив с собой узелок, Дуся отправлялась на кладбище. Она ходила туда одна, детей с собой не брала (слава Богу, в день убийства дети были не дома – у бабушки). К тому же Дуняшка, тринадцатилетняя дочь, перестала разговаривать с матерью, кусала губы и отворачивалась, о чем бы и что бы ни просила Дуся; Гошка, пятилеток, никак не мог взять в толк, что отца нет, что он умер, умер насовсем, и хуже того – его убила сама мать; он то тарасил на всех глаза, то хныкал: «Я хочу к папке... я к папке хочу...» – и никто ничего не мог сказать ему утешительного, кроме: «Ничего, брат Гошка, ничего, крепись... глядишь, вырастешь – папку заменишь, поймешь тогда жизнь, ох поймешь...»

Дуся приходила на кладбище, снимала с головы платок, ветер подхватывал ее красивые, ставшие, быть может, еще более красивыми – от густо охватившей седины, – волосы, садилась в ногах Коляя, развязывала узелок, сыпала по всей могиле пшена, хлебных крошек, ломаного печенья, дешевой карамели или конфет-горошка. В этом году Коляю исполнилось тридцать семь лет, но с фотографии он смотрел совсем молодой, просто не было других фотографий, и дело не только в том, что на фотографии Коляй выглядел молодым, дело в другом – он казался каким-то чужим, отдаленным, непривычным. Никак не могла Дуся вспомнить его таким, вот недавнего, прошлогоднего, позапрошлогоднего, помнила: добрый, тихий, слова громкого не скажет. Разве если приревнует... И Дуся плакала. Конечно, если б знать, что так все обернется, разве б давала она повод Коляю ревновать... Она смолоду зацвела яркой девкой, бесшабашной, отчаянной, парни так и вились вокруг нее, сначала – парни, потом – мужики, да серьезного-то ничего не было, ну, разве три-четыре случая, тот же Пашка Востриков или залетный моряк Роман Слепнев, а так больше никого, особенно когда дети пошли – Дуняшка, Гошенька... Дуся сидела на могиле и, плача, не столько жаловалась, сколько, казалось, спорила с Коляем: нет ее вины в случившемся... «Хотя как же нет, как же нет! – причитала она и с новой силой заливалась слезами. – Ведь собственными руками – вот этими, вот! – тут она с отчаянием, до боли, до крови кусала свои ладони, – зарезала его, отправила на тот свет, горемычного моего... единственного... кормильца единственного...»

И так каждый день сидела Дуся Комарова на могиле мужа и изводила себя слезами.

Когда схоронили Коляя, Дуся посадила напротив себя Дуняшку, которая прятала глаза от материнского растерзанного взгляда, и хриплым голосом (от постоянного надсадного плача) наказала дочери:

– Дуняша, посадят меня, так ты забери Гошику, и идите жить к Марусе. Я с ней договориюсь...

«Как же, пойду... разбежалась...» – думала тринадцатилетняя Дуняшка, а вслух ничего не говорила, отворачивалась от матери.

– Слышишь мать-то? Нет? – продолжала Дуся. – У Маруси пока подрастете, а там и я вернусь. Мне долго сидеть нельзя, мне вас на ноги поднимать надо...

«Ага, нас поднимать... Папку зарезала, теперь про нас вспомнила... И к Маруське твоей не пойду, к бабушке убежим!»

Родная сестра Дуси – Мария – жила на соседней улице; Коляя она не признавала, ругала и Дусю, что вышла за такого пентюха замуж. Не особо привечала Коляя и мать Дуси с Марусей – Варвара Карповна, но той давно не было в живых, а Маруся была жива, ох, да еще как жива была, любила сытно поесть, красиво нарядиться да позубоскалить над людьми: эти не такие, те не этикие, третьи и вовсе обухом по голове пристукнутые...

– А в школу Гошик пойдет, так ты смотри – помогай ему, – наставляла Дуняшку мать. – Счету научи. Чтoб он дураком-то у нас не рос...

«Ничего, не вырастет, – обиженно-горячо думала Дуняшка. – Это Маруська твоя до десяти считает да в сарафаны наряжается, а Гоша умный будет, он вон кошек любит, собак, он у бабушки щенка не утопит...»

Мать Коляя, бабушка Таня, жила в деревне Красная Горка, в шести километрах от поселка Северный: жила одна, в старом, но довольно крепком еще доме. Каждое лето Коляй что-нибудь да делал для матери: то изгородь починит, то крыльцо обновит, то крышу подлатает, то печку-грубку прочистит. Ни Маруся, ни Дуся, ни Варвара Карповна, когда еще была жива, не любили бабушку Таню, та платила им тем же, но с одной разницей: зла им не желала и в жизнь их не вмешивалась. Бабушка Таня жила не только одиноко, но скудно, бедно, на отшибе, а Маруся знай языком молола: «У, старая ведьма, на золоте спит, золотом ублажается, а все дурочкой прикидывается. Был бы Коляй не пентюх, давно б свою мать растряс, так не то что Дуська, а и мы все в деньгах купались бы!..»

Ходило поверье, будто отец Коляя, дед Ефим, перед смертью отдал три золотых слитка жене, при этом сказал: «Запомни, кто видел – молчок, кто слышал – молчок». В Красной Горке то там, то тут до наших дней вдруг обнаруживались заброшенные демидовские шахты и прииски; и вот будто бы дед Ефим нашел однажды золото, нашел да умер, а золото отдал жене, бабке Татьяне. Маруська так не любила старуху, что однажды со зла утопила в бочке ее щенка, Антошку. Об этом знали в поселке многие; знала, конечно, и Дуняшка.

– А вернись, – продолжала Дуся для дочери, – сразу на ферму пойду дояркой, ты тоже подрастешь, небось на шее сидеть не станешь, заживем не хуже прежнего...

«А папка в земле будет лежать, – закипая внутренними слезами, думала Дуняшка. – Как же, зажили не хуже прежнего... Е[е]бось сколько папка зарабатывал, никогда не заработаем. А жить надо. Вон Гошка еще совсем под стол ходит...»

Кончился разговор с дочерью тем, что мать чуть не влепила ей оплеуху. Но вовремя одумалась. Уже когда замахивалась, Дуняшка вдруг подняла на мать глаза, посмотрела прямо в сердце зрачков, смело, отчаянно, и Дуся не решилась: будто парализовала ее какая-то властная сила.

– Смотри у меня! – только и пригрозила Дуся. – Чтoб все сделала, как сказала. Без фокусов!

Для Дуси, конечно, не было секрета, что Дуняшка не любила Марусю, а всей душой тянулась к бабушке Тане. На похоронах старуха ничего не сказала Дусе, ни словом, ни полсловом не попрекнула, а только когда закопали Коляя, старуха обняла Дуняшку, прижала к себе и вздохнула: «Коляй, Коляй... жил – не думал головой, помер – вовсе теперь думать не придется. А у тебя вон Дуняшка, Гошик... на кого их оставил?» Будто обвиняла Коляя, что он умер. Или как было понимать ее слова?

По вечерам, накормив детей и уложив их спать, Дуся Комарова подолгу сидела на высокой супружеской кровати, не решаясь расстелить ее, не решаясь разрушить грандиозную крепость из шести, мал мала меньше, подушек. Для кого теперь эта кровать? Эти подушки? Эти ночи? Как вообще свыкнуться с мыслью, что больше никогда не будет Коляя в жизни? Никогда. По лицу Дуси текли слезы. Руки плетями свисали на подол платья. Волосы, красивые, черные в проседь волосы, растрепаны. Дуся не то что похудела, она иссохла. Когда-то мощные ее плечи опали, из-под выреза платья злобно торчали ключицы; бедра, недавно круглые, крепкие, казались теперь нелепыми, уродливыми – широкая кость осталась, а упругость, налитость исчезли как дым. Пышная грудь, когда-то такая же воинственная, как и характер хозяйки, неожиданно обвисла, ни один лифчик теперь не мог справиться с ней. Чего Дуся добивалась в жизни? Чего хотела? Из-за чего все годы воевала с Коляем?

Она не понимала. Она спрашивала себя и не понимала. Не могла понять. Все катилось само собой... Она нравилась мужикам – разве она виновата в этом? И Дуся хотела, чтоб Коляй свыкся с этой мыслью: она нравится мужикам, и с этим ничего нельзя поделать. Чтоб эта мысль не терзала его, не мучила. Наоборот, пусть гордится, что от взгляда на его жену мужиков в пот бросает. А что она иногда схлестывалась с ними – кто знает об этом? Никто. Разве что Павлуша Востриков. Но Павлуша – не человек, могила. Или Роман Слепнев? Но Роман был – и сплыл, и ни одна душа не знает, где правда, где неправда. Семка Петров? Ну и с ним просто так, нечаянно: покос, вечер, духмяный стог сена... Да и Семкин след давно простыл: уехал со своей бабой вон в какую даль – в брянские края... А когда детишки пошли – Дуняшка, Гошик, – совсем перестала... может, раз только – с Павлушей. Ну, да с ним не нарочно – по старой памяти, неудобно отказать было. А больше ни с кем. Вон уж сколько лет ни с кем. А ведь Коляй знал об этом, знал, но вот поди ты – мучился. И ее мучил. И вот – домучился...

Чего она хотела? Чего добивалась в жизни? Почему все годы воевала с Коляем?

Не могла теперь толком ответить.

Дуся повалилась на подушки и тихо-горько разрыдалась. Господи, чего б она теперь не сделала, останься только Коляй живой! Разве сказала бы ему когда-нибудь, что мать его – ведьма и жадная гнида? Разве стала бы слушать Марусю, которая повторяла изо дня в день: «Дурака своего не можешь тряхнуть хорошенько! Бабка его на золоте дрыхнет, а вы вон в домёшке поганом ютитесь!» Разве домик у них – поганый? За два лета срубил его Коляй с дружками, грыжу заработал, но просторную избу-пятистенку поставил, окнами на восток, на раннюю зарю, каждое утро, зимой ли, летом ли, а солнышко первым делом заглядывает к ним в окна, золотит подоконники, на которых даже в самые студеные зимние дни зацветала герань. И разве не он, Коляй, выложил своими руками русскую печь с чудными на ней полатами, где сколько раз прожаривались от любой простудной хвори падкие на болезни Дуняшка и Гошик? И разве не он, Коляй, ночи не спал, глаз не смыкал, когда Дуняшка, трехлетняя мученица, металась в жару от воспаления легких, и, случись с ней плохое, – чувствовалось, не жилец на свете и сам Коляй?

Как оглянешься на жизнь, так сразу видно: главой во всем был работающий, неприметный, не падкий на слова, безотказный и добрый Коляй. А все же кто командовал в доме? Кто все время покрикивал? Кто требовал денег? Постоянных обнов? Кто нещадно ругал и наказывал детей? Кто – прав или не прав – всегда стоял на своем? Она, Дуся. Это она все годы, что жили вместе, хотела поставить Коляю на такое место, загнать в такой угол, чтоб он не мог и слова пикнуть. А зачем? Почему? Сама теперь не знала. Нет, знала: хозяйкой хотела быть. Что сказала – закон. Что решила – то сделала. Что захотела – тому и быть.

И вот – добилась. Поставила на своем. Подрезала сук, на котором сидела. И детей в пропасть толкнула. И сама на дно покатилась. И Коляя в живых нет...

Ох! И залилась опять горемычными слезами Дуся... Если б все повернуть обратно! Уж она ли не стала бы ухаживать за своим Коляем? Уж она ли не сказала бы ему ни словечка обидного, злого? Уж она ли не топила бы ему баню по субботам да не приговаривала бы: «Сладкого жару тебе, Колюшка, легкого пару!» Уж она ли не стала бы носить ему на делянку горячий обед: «Ешь, муженек, ешь, золотой, из горячего чугуна борщ, из жаркой твоей печи навар!» Уж она ли не стала бы лелеять Дуняшку с Гошиком, уж она ли не сказала бы им: «Вон папка наш усталый идет! Бросьтесь, детки, поцелуйте кормильца нашего, поприветствуйте его вихры непослушные!»

В слезах, в горе так и забывалась Дуся на супружеской кровати, повалившись лицом на подушки, не раздевшись, не разувшись.

А за три дня до суда пропала из дома Дуняшка. Поначалу Дуся не хватилась ее – нет и нет, мало ли куда вышла, а потом Гошка перед обедом хитро так прищурился. Но молчит.

– Где Дуняшка-то? – спросила его мать.

– В лес убежала, – признался Гошик.

Он дал клятву себе: ни за что не скажет матери, а как только спросила – сразу и признался: тайна распирала его.

– В какой еще лес? – охнула Дуся.

– Вон в наш, – показал Гошик. – Волком жить будет.

– Ты чего такое мелешь?.. – Ноги у Дуси подкосились: она невольно села на стул.

– Дуняшка сказала: в лес убегу. Пусть там меня волки съедят.

– Господи... – подхватила Дуся. – Да что же это... – И бросилась вон из избы.

До позднего вечера искали Дуняшку. На Высоком Столбу были, в Красной Горке, у Раскуихи, на Чусовой, на Лавах, к Северушке ходили – нигде не было Дуняшки. На вырубке, где Коляй работал, Дуся бегала сама. Главное, там сказали, сам Герасим, бригадир, сказал:

– Точно, была Дуняшка.

– Да что сказала-то? Куда пошла? – ревела Дуся.

– Еды нам принесла. Вон, пирогов, говорит, поешьте. Папку помяните.

– Каких пирогов? – не понимала зареванная Дуся.

– С луком зеленым да яйцами. Сама, говорит, напекла. Папку помяните.

– Ну, так и есть, – ревела Дуся. – Убежать надумала. Пирогов напекла. Куда она? Ведь пропадет...

– А ты на кладбище была? – спросил Герасим; бригада его, пять человек лесорубов, смотрела на Дусю хмуро. Они ее не жалели – они Коляя любили, его и жалели. И Дуняшку жалели.

– Нет, не была, – встрепенулась Дуся.

– То-то и дура баба, – покачал головой Герасим. – Ты на кладбище загляни.

И точно – прибежала туда Дуся, Дуняшка сидит на могиле, в ногах у отца, и не плачет, а шепчет что-то, будто разговаривает с ним о сокровенном, больном.

Дуся не вскрикнула, нет, обвалилась плечом на сосну, прикрыла обезумевшие за день глаза ладонью.

Сколько-то минут вот так и прошло.

Потом Дуся не выдержала, сказала тихо:

– Домой пошли. Ты что это?..

Дуняшка испуганно, враждебно оглянулась.

– Домой, домой пошли... – повторила Дуся.

– Выглядела, да? – И Дуняшка от обиды заплакала.

Мать подошла к ней, взяла за руку. Во вторую руку Дуняшка подхватила узелок (там были пироги, банка с водой, нож и компас).

– Ты что же это, – говорила Дуся, обморочными ногами идя тропинкой кладбища, – убежишь, меня посадят, а Гошик помрет?

– Не помрет. Найдутся добрые люди.

– Ему ты нужна.

– Ему папка нужен. А ты нам не нужна, – говорила Дуняшка, но руку не вырывала, шла покорно, повинувшись матери как судьбе.

Пришли домой. Гошик сидел на полатах, выглядывал из-за припечья.

– Сынок? – позвала его Дуся.

Гошик не отзывался. Боялся: отзовешься – мать отлупит. А за что – и сам не понимал. А то еще и Дуняшка подзатыльник даст.

Мать заглянула на печь.

– Спит, – улыбнулась она сквозь слезы. – Умаялся, христовый.

Села на лавку, уронила руки на подол платья.

– Дуняшка, дочка, – сказала она с болью, тепло, проникновенно, – я не хотела, я не знаю, как получилось, я папку любила, пойми ты... Ну, что теперь делать? Не умирать же теперь самой? И вам не умирать же?

«Ври, ври...» – думала Дуняшка. Она сидела тоже на лавке, напротив матери, но глаз на нее не поднимала.

Через несколько дней должен был состояться суд.

II

На самом деле все было не совсем так.

– Ах, так я потаскуха! Я стерва! Я сучка подколесная! – кричала Дуся и пыталась полоснуть Коляю ножом по горлу.

Сопротивляясь, Коляй хватался обеими руками, голыми ладонями за лезвие ножа, не чувствуя и не обращая внимания, как боль обжигает пальцы, из которых ручьями текла кровь; но руки – ерунда, хуже другое – Дуся сумела-таки полоснуть по горлу, и из глубоко надрезанной раны трубой повалила кровь. Глаза Коляя подернулись поволокой, он медленно разжал руки, захрипел, хотел сказать что-то, но, видно, не мог, и Дуся наконец осознала, что наделала, вытаращила в ужасе глаза и закричала истошным криком.

Этот-то крик и услышали Павлуша Востриков со Степанычем – от дома они отошли всего ничего – и бросились к Комаровым. Павлуша как профессионал в дом ворвался первым: на полу, залитый кровью, лежал Коляй, над ним на коленях с ножом в руке стояла Дуся.

Коляй был жив, хотя лежал с закрытыми, будто уже смертью взятыми глазами.

Востриков грубо оттолкнул Дусю, склонился над Коляем.

– Полотенце, – командовал Павлуша.

Дуся не понимала, Степаныч посмотрел туда, посмотрел сюда – полотенца не было, схватил подушку, вывернул наволочку, располосовал ее.

– Поддержи голову! – продолжал командовать Востриков.

Степаныч держал голову, Павлуша Востриков быстро перебинтовывал шею Коляя.

– А? Что? Не надо... – бормотал Коляй.

– Бери за ноги! – сказал Востриков Степанычу.

На счастье, Коляй удался в жизни маленьким, легким мужиком, и Павлуша Востриков со Степанычем довольно просто подняли его на руки.

Через пять минут были уже на медпункте. Через полчаса, перебинтованный, с обработанными ранами, Коляй лежал в отдельном боксе в глубоком сне – Катя, фельдшер, не пожалела лекарства.

– Жить будет? – спросил Павлуша Востриков.

– Такие, как Комаров, не умирают, – улыбнулась Катя и стрельнула глазами на Степаныча.

Степаныч улыбнулся в ответ. Борода у него, усы, когда он улыбался, казалось, тепло пенились.

Очнувшись, Коляй долго лежал, не то что не понимая, наоборот – со стыдом понимая, что случилось и где он сейчас. Жалость к себе жгла ему сердце. Но еще большая жалость была к жене, к глупой Дусе Комаровой, которая наделала такого, после чего жизнь не может быть прежней. А какой она может быть? Он не знал.

Руки его, обмотанные бинтами, лежали поверх одеяла. Углубляясь в память, он как бы вновь хватал ладонями острый, наточенный им самим нож, и стон боли, стыда и унижения невольно вырывался из груди... Он об одном сейчас думал хорошо: что не было рядом детей.

Не было Дуняшки и Гошика. Будь они там, дома, – какой ужас должен был запасть им в сердца. В детскую память. Мать и отец. На полу. С ножом... В крови...

Коляй невольно застонал и хотел отвернуться от той точки, на которой сосредоточился взглядом, но боль в шее так ударила по глазам, что он бессознательно прикрыл их.

«Ах, гадство, – подумал он. – Надо же...»

Потом лежал с закрытыми глазами и думал. Многие годы он терпел воинствующее хамство жены, грубый ее, шумливый норов, крик, ненасытность к деньгам, к тряпкам, но кого тут винить? Сам выбирал – сам женился, сам посеял – сам пожинает. Эх, да не в этом дело... Разве можно с ножом на мужика? На кормильца? На отца? Какую это надо дать волю дикости, чтобы бросаться на человека с ножом? Небось была бы война – не Дуся, а он, Коляй, пошел бы защищать жену и детей от врага...

При мысли о детях он снова застонал, потому что мысль о детях, которые могли остаться сиротами не в войну, а в самое что ни на есть мирное время, была непереносима для Коляя.

Как жить дальше? Что делать?

Когда в бокс вошла Катя, Коляй открыл глаза.

– Проснулся?

Он не ответил – и так было ясно.

Потом она его перебинтовывала, обрабатывала раны и разговаривала с ним так, будто ей весело было, что он здесь лежит и у нее наконец появилась работа, по которой давно истосковались руки.

– Ну, не Павлуша бы Востриков, быть бы тебе, Коляй, гостем на том свете!

– Чего это?

– Так кто тебя сюда притащил? Востриков. Да еще товарищ его, бородатый такой. Вдвоем на ручках и внесли, как ангела.

«Вон чего, – нахмурился Коляй. – И тут он. Гадство...»

– Ты вот что, Катюха, – сказал он, – жена придет – ко мне не пускай.

– Это еще почему?

– Почему, почему... – проворчал Коляй. – Одному охота побыть. Понимать надо.

– Ладно. Не переживай. – И улыбнулась Коляю.

Может правда она была рада, что он тут лежит?

Дуся, конечно, прибежала на медпункт спозаранку. Осунулась за ночь на лицо.

– Нельзя к нему, – безжалостно отрезала Катя. С Дусей она разговаривала строго, начальственно.

– Ну а как он? – Дуся, при своем-то характере, заискивающе заглядывала Кате в глаза.

– Пока в неопределенном состоянии, – ответила Катя.

Но говорить так она могла сколько угодно. Дуся точно знала: Коляй будет жить. Вчера еще, вечером, Востриков с Семенычем передали ей Катины слова: «Такие, как Комаров, не умирают». И что она улыбалась при этом, тоже передали. Одно худо: судом ее пугали.

– Тогда передай ему вот это... – Дуся протянула Кате узелок. – И вот это еще... – Она порылась в карманах передника, достала смятый листок.

– Что это?

– Записка.

– Записка? – удивилась Катя и повела полным, красивым, женственным своим плечом: не знаю, мол, не знаю... – Ладно, попробую.

Записку Коляй попросил Катю прочесть вслух. Если бы они посмотрели в окно, то увидели бы там две мордашки: Дуняшкину и Тошкину. Лицо у Дуняшки покраснелось, глаза расширились от натуги – она держала братца на руках, а он парнишка крупный был, тяжелый,

вот ей и трудно было. Они таращили глаза в палату, с улицы-то плохо видно, и Гошка все хотел по стеклу стукнуть, а Дуняшка шипела змеиным шепотом:

– Тихо ты... Стукнешь – так напощаю, своих не узнаешь... Прогонят ведь!

– «Коляй, – читала Катя, – если думаешь, я виновата, так ты сам виноват. Спасибо скажи, что обошлось. Пишу тебе: где получка? Детей кормить нечем. Дуся».

«Вспомнила про детей», – подумал Коляй, и сердце его сжалось болью, тоской.

– Что ответить-то ей? – вывела его из боли Катя.

– Скажи, тяжелый я.

– Говорила уже.

– Скажи еще раз.

Катя увидела в окне детские мордашки и погрозила пальцем. Мигом исчезли, как и не было их.

– Ладно, мое дело маленькое, – бесстрастно сказала Катя.

Так Дуся Комарова и ушла ни с чем.

Потом пришел Востриков. Один, без Степаныча. Пришел важный, серьезный. Коляй хотел сказать ему: спасибо, мол... но язык не поворачивался – не любил Коляй Павлушу, и все тут.

– Заявление писать будешь? – спросил Павлуша Востриков официальным тоном, достав из сумки-планшетки бумагу, ручку.

– Какое заявление?

– По полной форме. Тогда-то, в такое-то время гражданка Комарова покушалась на мою жизнь с применением холодного оружия. Свидетели – такие-то (мы со Степанычем). Прошу дать заявлению официальный ход в соответствующих органах. Подпись.

– Зачем это? – удивился Коляй.

– Как зачем? В нашем государстве ни один человек не имеет права покушаться на чужую жизнь. В том числе жена на мужа и муж на жену.

– Напишу – Дусяку судить будут?

– По всей строгости закона.

– Не-е, так дело не пойдет. Чего ж я ее от детей в тюрьму сажать буду? Мы с ней сами разберемся. Уж лучше я с ней жить не буду, чем в тюрьму ее сажать. Так можно?

– Выходит, ты считаешь, ничего особенного не произошло?

– Если по-другому нельзя – выходит, так.

– И в следующий раз она тебя запросто может порешить, так?

– Следующего раза не будет.

– Почему это?

– Ну что она, дурная, что ли, каждый раз с ножом бросаться? Да и вообще...

– Дурная не дурная, а баба с характером. Особенно против тебя. Ну, мое дело – принять от тебя официальное заявление. А там как знаешь.

– Не-е, заявление писать не буду. Пускай баба живет, как жила.

Некоторое время оба молчали.

– Не передумаешь? – поинтересовался Востриков.

– Нет, – твердо ответил Коляй.

Павлуша Востриков по-дружески улыбнулся:

– Если хочешь знать – я был уверен в тебе, Комаров. Хороший ты мужик! Но бабу свою приструни... Не годится на кормильца с ножом!

– Разберемся.

Жить Коляй ушел к матери на Красную Горку. Старуха знала обо всем случившемся и особо не пытала сына. Когда он спросил ее: «Не выгонишь?» – она просто ответила: «Живи». Стали жить вдвоем.

Каждое утро, как прежде, как всегда, Коляй уходил на вырубki. Мать собирала ему еды – сала, яиц, огурцов, вареной картохи, хлеба, и Коляй, благодарно кивнув, поспешно хлопал дверью. Мать не хвалила, но и не осуждала его, но было в ее поведении что-то такое, от чего Коляя бросало в стыд. Впрочем, до поры до времени он не мог разобраться в своих ощущениях. Просто пораньше уходил и попозже возвращался. Дом, в котором он вырос и который прежде ждал его с радостью, будто глядел на него теперь дурным глазом.

На делянку Коляй уходил подавленный.

Однако на работе внутренняя пружина отпускала его. Собственно, он и был для того рожден на свет – для работы. На то он и мужик. И любая работа, а особенно та, которая требовала души, примиряла его с жизнью. Будь она самой тяжелой-растяжелой.

А такой и была его работа на вырубках.

Двадцать лет, без малого, Коляй только и делал, что валил лес, и, хотя многие в бригаде за эти годы растеклись по сторонам, стержень ее оставался, как и должно оставаться стержню: Герасим – бригадир, Коляй – вальщик. Герасим отличался редкой молчаливостью, внешней угрюмостью, но душой был младенец. Такие люди прикипают к своему делу смолой – ничем их не отдерешь потом. Коляй же, дома тихий, незаметный, в работе был суматошный, веселый. Лицо его освещалось одухотворенностью, светом. На таких, как Коляй, как Герасим, и держится трудовая Русь.

«Дружба» в руках Коляя не пила – музыкальный инструмент. Трудно вспомнить, хотя бы единственный раз, чтобы лопнула у Коляя цепь. Он чувствует ее жизнь, как чувствует и жизнь дерева. Осина поет легко, с широкой удалью, будто и не приносит ей никакой боли цепь, и цепь отвечает ей взаимностью: не ревет, не тычется, а плавно, мерно уходит в глубину ствола. Сосна увязает в музыке, поет-поет, да вдруг будто сорвет голос, увязнет в нем или споткнется, тут уж цепь отступает в сторону и только затем начинает свои новые такты. Упрямей, но и музыкальней всех береза: тон у нее высокий, пронзительный, и такое ощущение, будто петь ее принуждают, и вот она часто своенравничает – хватает цепь, как в тиски: ну, долго еще петь по твоей указке?

Знает, знает характер дерева вальщик Коляй Комаров.

Герасим, как вернулся в первый раз Коляй на вырубki, так ни о чем и не спросил его. Подошел только, прикурил от Коляиной сигарки, пощупал взглядом ладони Коляя: они были в крученых надрезах, – нахмурился Герасим, и все. На шее – там у Коляя было похуже: один, но глубокий и долгий, в хороший мужской мизинец, шрам. Это Петр Дятков, тракторист-трелевщик, первый тогда пустил шутку:

– Вишь как баба любит его! Причмокнула так причмокнула!

Кое-кто в бригаде рассмеялся: Волков Сережа (у него тоже с женой всегда нелады), Игнатьев да Ленька Мелехин (эти холостяки, им палец покажи – рассмеются).

– Ну, поржали – и ладно, – нахмурился Герасим.

А это значило – пора по местам.

Валили лес, сучковали, трелевочник оттаскивал хлысты, разделявали, клеймили, складывали в штабеля.

Простая работа. Но семь потов с тебя сойдет, когда к концу смены воткнешь острый топорик в чурбак:

– Что, мужички, пора по отходной засмолить?

Садились, закуривали – потные, усталые.

На Красной Горке ждали иногда Коляя дети – Дуняшка и Гошик. Гошик в последнее время хмурился. Дуняшка наоборот – как увидит отца, будто маковкой расцветет.

- Ой, папка, – говорила она, – скоро в школу, а как неохота!
- Неохота, – хмыкал Коляй, – а у самой вон рот до ушей.
- Это от другого, – смущалась Дуняшка.
- От чего такого? – спрашивал Коляй.
- А, ишь какой... – щурилась в улыбке Дуняшка. – Может, это мой секрет?
- Знаем твои секреты...

А ведь не знал Коляй Дуняшкиных секретов. Не знал, верней, не понимал, что Дуняшка рада, что отец ушел из дома. Мог ли он понять такое? Да и как это – рада, что отец ушел из дома? А вот бывает. Когда отца любишь, так устаешь смотреть, как им помыкают, да брезгают, да кричат на него, да денег день и ночь требуют. А теперь мать плачет. Пускай. Пусть поплачет, пусть, может, поймет, как папку не любить...

– Ну вы, пострелята, – добродушно покрикивала бабушка Таня на внуков, – дайте отцу умыться... А потом живо за стол! Ужин стынет...

Вот так сидели однажды, чистые, умытые, счастливые, во главе стола – бабушка, по правую руку – отец, и Гошик вдруг говорит:

- А я знаю, ты с мамкой поругался. – И, как всегда, прищурился, будто прицелился.
- Ну-у?.. – будто понарошку удивился Коляй. (А что оставалось делать?)
- А я знаю, почему поругался, – продолжал Гошик и весело болтал ногами.
- Почему? – все в том же весело-наигранном тоне продолжал Коляй.
- Потому что ты мамку хотел зарезать. А она милицию вызвала.

Все так рты и открыли! (А Дуняшка, раз только, – подзатыльник Гошке.)

Первое, что Коляю хотелось сказать, не сказать – крикнуть: «Это не я – она хотела меня зарезать!» – но, слава Богу, не выкрикнул, сдержался, только густо покраснел и вдруг подавился, закашлялся. И главное, очень жалел позже, что вообще ничего не ответил, промолчал, будто сын правду сказал. Надо было хоть возразить: «Нет, неправда это, никогда такого я не хотел!..» Да что теперь: улетела минута, как синица из клетки.

Дети ушли, а Коляй долго лежал без сна. И слышал: там, на печке, на полатах, не спит и мать, вздыхает, пришептывает что-то. Он теперь понял: он-то ушел, а Дуся, жена, грязью его дома поливает. Плачет, беснуется, а грязью поливает. И хуже всего – перед детьми поливает. Вот Гошка дурачок дурачком, а запомнил: отец хотел убить мать... И опять – в который раз в жизни! – жалость к себе и обида разжигали сердце Коляя, будто раздувал притухшие угольки лесной ветер-верховик.

– Домой тебе надо возвращаться, – сказала мать так, словно точно знала: Коляй не спит, думает.

– Выгоняешь? – взвился Коляй и соскочил с лежанки.

Сел, свесив ноги, вперив взгляд в занавеску, за которой наверху лежала мать.

– Выгонять не выгоняю, а домой возвращаться тебе надо, – повторила мать. По неясному шороху было понятно, что она, кажется, при этом перекрестилась.

– Значит, она меня – режь, значит, она меня – убивай, а я только шею подставляй, так?! – почти на крике не соглашался Коляй.

– И убивать станет, и помыкать, и с грязью мешать, а дети без отца – куда это годится?

– Дети без отца! Так она только о том и думает, что из-за детей я и приползу на коленях, прощения просить буду! Нет, выкусит пусть – не бывать такому!

– Не бывать такому – значит, не видать тебе и детей как своих ушей. Вон Гошка какой уже, Дуняшка, без тебя хорошо им расти? Чужими тебе вырастут. Чужими. Попомни.

– Не вырастут. Я вот он – рядом. Когда надо – пришли, когда надо – свиделись.

– Коляй, Коляй, четвертый десяток добираешь, а в дураках жизнь хочешь прожить...

– Нет, мать, так дело не пойдет! – в горячке зашептал Коляй. – Давай слась с печки, посидим по-хорошему, поговорим. А то отмалчиваешься... У меня давно накопело, душу открыть некому... Мать ты мне или не мать?

– Я-то мать... – Кряхтя, пристанывая, старуха слезла с печи, вышла в сени, оттуда в кладовку. Принесла огурцы, сала, развернула из тряпицы хлеб. Из горки достала початую бутылку.

Разговор потек дальше, но теперь за столом, по-человечески. Глаза матери давно подернулись старческой слезной дымкой, но, надо отдать ей должное, плакала она редко.

– Вот ты, мам, скажи мне: ты бы руку на отца подняла?

– Ну, сказал тоже, – отмахнулась старуха двумя руками.

– То-то! – победно заключил Коляй.

– Так то отец твой был, Ефим Иванович! – сурово поджала губы мать. – Тот сказал – попробуй его послушаться.

– А я, значит, не в отца! Характера не хватает?

– Не в характере дело. Время нынче другое.

– Чем оно другое-то?! – склонился над столом Коляй и будто хотел пробуравить мать пытливо-настороженным взглядом.

– А тем и другое: захотела твоя жена – и чуть не прирезала тебя. И вишь – правда на ее стороне. Детки, Коляй, детки тут всему мера.

– Не понимаю! – помотал головой Коляй. – Не понимаю! Вот убей меня – не понимаю!

– Поймешь еще... Какие твои годы, Коляй, поймешь.

– Мам, да ты сама пойми: в медпункт ко мне пришла, так она зачем пришла? Прощения просить? Записку написала: где получка? Мол, детей кормить нечем... Вспомнила! Вчера чуть не зарезала, а сегодня первое, чего ей надо: где деньги? Это как?! – И Коляй в страстной обиде хлопнул ладонью по столу: только посуда задрожала.

– Вот-вот, – сказала старуха. – Сам виноват – сам вину и прими. А детям без отца нынче хуже, чем в войну: там хоть вы, мужики, героями были, ждали вас, ждали...

– Не понимаю! – совсем тихим шепотом продолжал Коляй. – Не понимаю!

Шло время. Осень, зима, весна... Коляй терпел, выдерживал характер. Детей видел все реже и реже, зимой особенно. Душа изнывала, но Коляй знал: нужно терпеть. Он должен доказать проклятой своей жене Дусе Комаровой: он человек. Он человек – вот что должна понять эта дура.

Вот только собиралась ли она понимать?..

III

В действительности все было совсем не так.

...Из медпункта Коляй вернулся домой, а не ушел жить к матери на Красную Горку. Были такие мысли, были, но как выбрался от Кати, так ноги сколько ни петляли, а привели Коляю домой. За время, что он лежал в медпункте, Дуся больше не заглядывала к нему. Приходили Гошик с Дуняшкой. Смотрели в окно. Приходил Герасим. Приходила мать. А жена не приходила. Хватит одного раза. У нее дел неуворот по хозяйству, окинуть взглядом – года не хватит...

Первым увидел Коляй сына. Он копошился в саду перед домом, рыхлил землю под яблоней.

– Вот добрый хозяин, – улыбнулся Коляй.

Он, когда увидел Гошика, и увидел дом, и увидел землю, которую рыхлил тяткой пятилетний сын, сразу обмяк сердцем; стоял у изгороди, положив руки на зелинки, потерянно улыбался.

– Папка! – Гошик отбросил в сторону тятку и – через дверцы палисадника – кинулся к отцу.

Коляй подхватил его на руки, прижал сына к себе, прижался к нему сам. За эти дни у него отросла изрядная, чуть рыжеватая, а кое-где седая щетина, и табаком от него пахло круто, но Гошик не обращал внимания, жался к отцу и все повторял:

– Папка! Папка!..

– В дом-то пойдем? – спросил Коляй.

Гошка не ответил: стиснув зубы от чувств, кивнул только – ага, пойдем. Он, может, и слезу бы сейчас пустил, да знал: мужчины не плачут.

– Кто дома-то есть? – спросил Коляй у сына, держа его на руках, входя с ним в ворота.

– Мамка.

– А Дуняшка где?

– Дуняшку мама в поле послала. За щавелем для борова.

– Ясно.

С этими словами на устах и вошел Коляй в сени. Дуся месила отруби в ведре; оглянувшись, распаренная, лицо жесткое, волосы из-под косынки сосульками торчат.

– Во, явился француз с войны! – сказала не зло, но и без насмешки: как бы между прочим.

Не снимая Гошика с рук, не обратив внимания ни на Дусю, ни на ее слова, Коляй прошел в дом. Чувствовал только, как покрылась испариной спина – ведь первое свидание с женой, а чего только не передумал он, представляя, каким оно будет. Вышло вот каким. На то она и жизнь.

В доме пахло свежестью, чистотой; на кухне из кастрюли лезло из-под полотенца тесто; Коляй опустил сына на пол, взял вилку, потыкал тесто – оно сразу осело на четверть, а то и на треть; Коляй бережно прикрыл тесто полотенцем, невольно покосившись на входную дверь: не видала ли жена? А почему покосился, почему «не видала ли?» – сам не знал.

Сел на лавку; поставил напротив себя сына, взъерошил ему волосы:

– Ну, как тут живете?

– Плохо без тебя. – Гошик прижался к ногам Коляя, отец поцеловал его в макушку. Пахло от Гошика неувовимо родным – будто топленным молоком, что ли.

Тут Коляй увидел, что дверь в большую комнату (они называли ее «залом») села, так что на глянцевом крашеном полу появился дугообразный след.

– Тати-ка ножовку, – сказал он сыну. – И вообще инструмент.

– Дверь чинить будем?

– Угадал, – улыбнулся Коляй; руки у него хоть израненные, в шрамах, а истомились по работе.

С Гошиком они пересаживали дверь на новые петли, опилки липли к взопревшим лицам, пытели оба, не замечая ничего вокруг. Но чутким ухом Коляй слышал, как Дуся то входила, то выходила, гремела ведрами, посудой, потом запахло пирогами, сладким печеным тестом, а внутри у Коляя что-то сдвинулось, запершило в горле, зарябило в глазах.

Когда с поля вернулась Дуняшка, дверь висела уже на новых петлях, а Дуся накрывала на стол. Коляй сидел на крыльце, курил; рядом сидел Гошик, строгал «чижику» для будущей забавы; Дуняшка опустилась на колени перед отцом, расплакалась.

– Ну, будет, будет, – потрепал ее по рыжеватым волосам Коляй (и опять у него запершило в горле). – Чего ты...

– Катя вредная, – всхлипывала Дуняшка. – Ни разу нас к тебе не пустила. – И смотрела на отца омытыми слезами глазами.

– Она не вредная. Не положено, – защищал ее Коляй.

Дуняшка осторожно провела пальцем по глубокому шраму отца на шее. Коляй от неожиданности вздрогнул.

– Больно? – поморщилась Дуняшка.

– Папка солдат! – заявил Гошик. – Правда, папка? Солдатам больно не бывает!

– Точно, – поддержал его Коляй и в который раз за сегодня улыбнулся; а ведь сколько дней лицо его не знало улыбки.

На крыльцо, пышущая жаром, выглянула Дуся:

– Ну, гоп-компания, за стол. Пироги подаю!

Гошик подскочил как подстреленный, за ним направилась в дом Дуняшка:

– Пап, пошли?

Коляй ответил:

– Иди, иди, я покурю пока...

Минуты через три Дуся снова выглянула на крыльцо:

– Тебе что, особое приглашение?

Коляй молчал; молча и надсадно курил; обида, как яд, растекалась по всему телу истомной, жалящей болью.

– Ну, сытых дважды не приглашают! – И Дуся шумно хлопнула дверью.

«Петли смазать надо. Петли визжат», – подумал опустошенно Коляй. Он отщелкнул от себя сигарку и, чувствуя слабость под коленками, встал на ноги. Упоенно хрюкал в свинарнике боров, шумно дышала, жуя жвачку, Стеша. Коляй взял лопату, вилы, пошел к Стеше. Корова косилась на него умным, большим, жалостливым глазом. Коляй похлопал ее по пятнистому боку, сказал: «Ничего, ничего, Стеша, бывает...» Минут десять чистил у нее, подложил за перегородку свежего, пахучего сенца. Потом попроведал борова. Тот до сих пор не мог оторваться от Дуняшкиного лакомства – хрумкал и хрумкал щавель. Коляя, видно, он немного подзабыл, в первую минуту шархнулся от него. А вот Стеша не забыла. Стеша смотрела на него умно, с пониманием. Вроде вот забивать ее надо на ноябрьские, стара стала, а жалко...

Коляй взял топор, пошел в дровяник. Сосновые чурбаки разлетались под его ударами, будто спички сыпались из короба. Минут десять махал Коляй топором, потом отшвырнул его в сторону. Душа стонала. Коляй и в самом деле вдруг услышал собственный стон, вырвавшийся невольно из груди.

«Нет, так дело не пойдет, – подумал он. – Спятишь еще, гадство...» – И Коляй решительно вышел за ворота дома.

До делянки было километров семь; хорошего хода – полтора часа. Коляй широким шагом направился в лес...

Когда он неожиданно появился в бригаде, именно тогда Петр Дятков и ляпнул сдуру:

– Вишь как баба любит его! Причмокнула так причмокнула!

Кое-кто в бригаде рассмеялся: Волков Сережа (у него с женой всегда нелады), Игнатьев да Ленка Мелехин – холостяки.

– Ну, поржали – и ладно, – нахмурился Герасим.

Он подошел к Коляе, прикурил от его сигарки, пощупал взглядом ладони Коляя: они были в крученых надрезах. Нахмурился Герасим, но ничего не сказал. На шее – там у Коляя было похуже: один, но глубокий и долгий, в хороший мужской мизинец, шрам.

А потом началась работа... Очнулись от нее, только когда Ленка Мелехин азартно прокричал:

– Эй, Коляй, смотри, кто идет!

По тропинке к ним, с узелком в руке и с бидоном – в другой, выходила Дуняшка: рыжая, в цветастом платье, в резиновых сапогах и с голыми коленками.

Коляй нахмурился, хотя хотелось наоборот – улыбнуться.

– Вот, – поставила Дуняшка бидон на пенек. – Ешьте, пейте. – И развязала узелок, в котором горой лежали пироги и шаньги.

Бригада, конечно, навалилась на угощение; сел со всеми в круг и Коляй. Он не спрашивал: сама ли Дуняшка догадалась или мать послала ее с пирогами. Не мог, не хотел спрашивать. Молоко пили прямо из бидона, через край. По кругу. Нахваливали пироги: тут было три сорта – с капустой, с картошкой и с яйцами-луком.

Дуняшка сидела чуть в стороне на пенечке, подперев ладошкой подбородок. Светилась оттуда глазами грустными, жалостливыми.

– Дуняшка, ты сама-то умеешь печь? – с набитым до краев ртом весело спросил Ленька Мелехин.

– Умею. – И вздохнула при этом.

– А чего вздыхаешь? Вырастешь – замуж возьму. Пойдешь за меня?

– Да ты сейчас-то дурной, дядя, – ответила серьезно Дуняшка. – А тогда вовсе поглупеешь. Полысеешь еще...

Тут, конечно, бригада не осталась равнодушной – грохнула над Ленькой. Улыбнулся с гордостью за Дуняшку и Коляй. А Ленька как замер с набитым ртом, так и остался сидеть.

Каждый день теперь Коляй спозаранку уходил на делянку, стараясь вернуться с работы как можно позже. Ел он дома отдельно. Ну, как ел? Так, чайку заварит. Пару яиц сырых выпьет. Огурцом похрумкает. Хлеб солью посыплет. Спал за печью; когда клал печь, сам же и оставил там уютный закуток. Дуся не обращала на Коляя внимания: хочется мужику с ума сходить – его воля.

И все было бы ничего для Коляя (кроме стыда за детей и из-за детей), да вот одна штука мучила его всерьез. Тогда, когда Дуся просила получку, он не отдал ее. А теперь не знал, что делать с ней. Ему-то деньги зачем? А они лежали у него в кармане пиджака, и день, и два, и три лежали и жгли не карман – душу. Один раз он взял и выложил их на стол. И ушел на вырубку. Вернулся – деньги лежат. Вернулся на другой день – тоже лежат. И на третий – лежат.

Пригорюнился Коляй. Две ночи дома не ночевал. Оставался в лесу, у костра. На пару с ним ночевал и Герасим.

Герасим сказал, как мудрец: три жизни не проживешь, а одну прожить надо. И все, больше ничего не добавил. Понимай его, как знаешь. А слова растолковывающего из Герасима клещами не вытащишь...

На третий день Коляй вернулся домой – денег нет на столе. Ну, прямо горящий уголь из души выкатился. Коляй так обрадовался, что чуть не перекрестился.

И тут выходит к нему из угла Гошик, печальный, пасмурный, глаза опущены, руки безвольно висят.

– Пап, ты не хочешь с нами жить, да?

– Почему это?

– Я знаю, ты поругался с мамой... Поругался, да?

– Ну, мало ли в жизни бывает...

– А я знаю, почему поругался, – продолжал Гошик. – Потому что ты мамку хотел зарезать. А она милицию вызвала...

Коляй так рот и открыл.

Первое, что невольно хотелось сказать, не сказать – закричать: «Это не я – она хотела меня зарезать!» – но, слава Богу, не выкрикнул, сдержался, только покраснел и натужно закашлялся. И позже очень жалел, что вообще ничего не сказал, промолчал, будто сын правду сказал. Надо было хоть возразить: «Нет, неправда, никогда такого я не хотел!»

Вместо этого он хлопнул дверью и снова ушел в лес.

А на другой день после этого появился на делянке старшина милиции Павлуша Востриков. Коляй встретил его хмуро, если не сказать – враждебно. Востриков хоть и обратился на

это внимание, но на хмурые стрелы в глазах Коляя не обиделся. Отошли они от бригады в сторонку.

– Если насчет заявления, – набычился Коляй, – так разговор один раз был. Писать ничего не стану.

– Слушай, Николай Ефимович, ну что ты, ей-богу, на меня крысой смотришь? Я по делу к тебе, по государственному делу, понимаешь?

Коляй не понимал.

Сели они на полянке. Кругом земляника, а чуть выше, на пригорках и вырубках, – широкие разливы черники.

– Какое еще государственное дело? – не поверил Коляй; ох, не верил он Вострикову, не верил.

– Вот ты в прошлый раз нас в шею выгнал, а что получилось? Беда получилась. А мы приходили посидеть с тобой, поговорить...

– Нечего без хозяина в дом шастать!

– Ну, извини, извини, Николай Ефимович, в другой раз знать будем... Хотели как лучше. Тебя ждали.

– Ну да, ждали меня, а подваливали к Дуське!

– Слушай, ты чокнутый какой-то, ей-богу. Да тебя ждали, тебя. Ты нам нужен был.

Коляй и тут не поверил, но ничего не сказал, хмурился, ждал, что скажет Павлуша Востриков дальше.

– Понимаешь, мы к тебе с просьбой, Николай Ефимович. Помогите нам!

– Я – помощи? Не понимаю!

– Сейчас поймешь. Только не удивляйся. И в бутылку не лезь.

– Ну-ну...

– Илья Степанович, с которым мы тебя ждали, он ведь геолог.

«Еще бы, с такой-то бородой... – усмехнулся про себя Коляй. – Тоже к Дуське примеривался».

– Из областного геологоразведочного управления он, – продолжал Павлуша Востриков. – И нужно ему было побеседовать с тобой.

– О чем это?

– Вот тут самое главное. – Востриков помедлил. – Только ты не думай, я сам в это не верю. Но слухи есть слухи. Одним словом, ходит легенда, будто у отца твоего было золото. Три слитка.

– Да глупости это! – в сердцах махнул рукой Коляй и даже затосковал от дальнейшего разговора.

– Да знаю – глупости. И Илья Степанович знает – глупости. Тут важно другое: края-то наши богатые, уральские, шахт тут у Демидова много было, приисков, золотишко водилось... И вот идея такая возникла: может, у отца твоего бумаги какие сохранились, чертежи, планы, наброски, карты? Ну, что-нибудь вроде этого... понимаешь?

– Ничего у него никогда не было!

– Скорей всего – не было. Верю. Все тебе верят. Чего ты! Но они же геологи, они версии всякие проверяют – вдруг в легенде есть доля правды? Ведь не с кем-то, а с твоим отцом легенду связывают!

– Мало ли кому и что в голову взбредет!

– Не кипятись, не обижайся, Николай Ефимович. Нет ничего, значит, нет. А помочь государству в случае чего мог бы и ты. Ты в государстве не последний человек, сам знаешь...

«Чего это я знаю?..» – удивился Коляй.

– И просьба к тебе самая маленькая. Человеческая. Поговори с матерью, Татьяной Ивановной. Вам-то эти бумажки не нужны, ну, если вдруг завалялись где, а геологам ой как помочь могут!

– Да нет ничего, нет!

– Но поговорить ты с матерью можешь? Тебе-то, как родному сыну, у нее веры больше. Нет, значит, нет. О чем разговор. Но, может, она сама не знает: валяются бумажки, а ей и в голову не приходит, что это важные документы.

– Какие там документы? Я же вырос на Красной Горке, родной-то свой дом знаю.

– Одним словом, по-человечески спрашиваю, Николай Ефимович, можешь поговорить или нет?

Коляй почесал в затылке. Поговорить нетрудно, хоть и неохота. Но если о государстве речь, о государственной пользе, тогда, конечно... о чем и спорить.

– Ладно, поговорю, – буркнул он. И на этом разговор исчерпался.

В этот день, в субботний вечер, Дуся истопила баню. То ли она почувствовала слабинку Коляя, то ли просто надоело играть в молчанку, но Дуся возьми и скажи ему:

– Париться-то первым пойдешь? Или после нас?

Коляй не ответил, даже не взглянул на жену, но вдруг почувствовал, как душу захлестнуло теплом от этих обычных человеческих слов, теплом, ноющей сладостью и отравой. Чтоб не выдать себя, он даже отвернулся, закурил, а Дуся обиженно скривилась и хмыкнула:

– Ну-ну. Давай сиди пнем, кисни.

Она вымыла сначала Гошику, потом ушла мыться сама вместе с Дуняшкой. Коляй подошел к Тошкиной кровати, хотел поговорить с сыном – тот замертво спит. Чистая румяная щека блестит глянцем, дыхание ровное, едва слышное, а кулачок сжимает, будто боится отдать какую-то тайну. Коляй постоял над ним, поулыбался, а когда Дуся с Дуняшкой вернулись, ни слова не говоря, вышел на зады огорода. Там и темнела банька.

Камни еще не остыли. Воды в котле на три четверти. В предбаннике – двухведерная кадка холодной воды. Скинул с себя Коляй одежду – и скорей в жаркое нутро бани. Окатил камни водой – пар пошел густой, терпкий. Коляй забрался на самый верх полка и долго сидел – блаженствовал, истекал потом. Затем взял веник – березовый вперемежку с пихтой – и пошел хлестать себя, и пошел... Окатился холодной водой, охнул – и снова забрался на полку, лег навзничь и лежал, истекая потом по второму разу. Слышно было, как хлопнула дверь в предбаннике; Коляй понял – Дуся принесла ему чистое белье, полотенце. И думал теперь о ней спокойно, без надрыва, без злобы – будто что-то сдвинулось в нем, открылась какая-то выюшка и скопившийся пар бабой-ягой вылетел на помеле в трубу. Об этой бабе-яге Коляй сам подумал, сам догадался – и вот надо же, улыбнулся. Эх, дурак же ты, дурак... Понял Коляй теперь, что ведь Востриков, будь он неладен, приходил со Степанычем по делу, а он Бог знает чего накрутил... можно ли так? И мужиков обидел, и бабу изругал, и сам чуть Богу душу не отдал... Коляй провел ладонью по шее – да, шрам хорош, спасибо, жив остался. Коляй чуть рассмеялся – весело, отходчиво.

Вернулся из бани – на столе праздник. И картошка рассыпчатая, и очищенная соленая рыба, и квашеная капуста, и крупно порезанное сало, и огурцы с помидорами, и рыбные расстегаи, и любимые его шаньги, и моченая брусника, и холодный квас в крынке, а в центре – полная сковорода отборных мелких жареных маслят.

Дуняшка умаялась за день, давно спала рядом с братцем; сидели за столом вдвоем. Самое главное – в первый раз улыбнуться друг другу.

Улыбнулись, конечно...

Ночью Дуся горячо шептала Коляю, что, когда пришли эти, двое-то, Востриков да Илья Степанович, она сразу смекнула что к чему. Они – про золото, а она им – знать ничего не знаю. Так им и сказала, разбежалась... Если что, оно нам самим нужней будет...

– Да какое золото-то, ты что? Нет никакого золота, – прощаяще шептал Коляй.

– Ну, нет, нет... Конечно, – соглашалась Дуся. – Нечего и шастать. А то придут: золото, золото. Так мы им и сказали...

– Дусь, ну ты в самом-то деле! Ты мне веришь или нет?

– Кому еще верить-то, если не тебе? – целовала его Дуся в шею, в шрам. – Но если что, я у тебя верная жена, Коляй. Я про золото никому, ни-ни...

– Вот же гадство! – неожиданно даже для самого себя тихо-восторженно рассмеялся Коляй. – И далось всем это золото...

– Ты чего смеешься-то? – насторожилась Дуся.

– Ладно, спи, – сказал Коляй. И покрепче обнял жену.

Дня через три Коляй с делянки пошел не домой, а к матери на Красную Горку. Мать приболела, лежала в постели. Не на печи, как обычно, а внизу, на «диване», как она называла широкую лавку с резной спинкой и с резными же, по краям, подлокотниками. «Диван» этот срубил топором без единого гвоздя еще отец Коляя – Ефим.

– Ты чего это лежишь? – весело проговорил Коляй. – Иль помирать собралась?

– Да нет, что ты. Кости вот ломит. Думаю, дай отлежусь, оклемаюсь...

Увидев сына, старуха поднялась с «дивана», лицо ее разгладилось от морщин, глаза осветились думой, заботой.

Коляй подхватил топор, вышел во двор.

– Куры-то у тебя скоро совсем в лес убегут, – услышала мать его голос.

Услышала, выглянула к сыну в окно.

– Убегут, убегут, – согласилась. – Будто знают, что гоняться за ними не молодуха.

Коляй брал зелинку за зелинкой, каждую вострил на чурбаке с двух сторон. Потом стал заделывать дыры в заборе.

Мать вынесла ему холодной свекольной паренки. В Северном – там бабы больше хлебный квас варили, а вот на Красной Горке – свекольную паренку. Можно сказать, Коляй на ней и вырос – военные-то годы, каждый помнит, голодные были.

– Веселый ты стал, справный! – порадовалась за сына старуха. – Наладил жизнь-то?

– Все нормально, мам, – улыбнулся Коляй.

– И то хорошо. Гошка, Дуняша как?

– К тебе завтра собирались.

– Ну и ладно. С Дусей помирились?

– Живем, дышим.

– Эх, Дуська, Дуська, знала б, с каким золотом живет, сама серебром бы стала.

– Э, мам, ты чего... Дуська – баба с норовом, да и я не простак.

– Ох, не простак! – хриловато, будто мелко закашляла, рассмеялась старуха. – Да живи ты с ней, живи, детей подымай, а только как хомут надевать будут – шею-то особо не подставляй.

– Ей-богу, не пойму, чего бабы не поделят друг с другом?

– Коляй присел на крыльцо, заглянул матери в глаза, полез в карман за куревом.

– Да что ты! – старуха махнула иссохшей, в ветвях сухожилий рукой. – Живите сто лет.

А на сто первый меня похоронить не забудьте!

Коляй рассмеялся.

– Отчего это старый человек – умный, а молодой – глупый! – удивлялся он.

– Оттого что старый человек – старый, а молодой – молодой, – ответила мать.

Тут они рассмеялись вдвоем, хорошо рассмеялись, по-доброму.

Когда мать кормила его ужином – терпкий холодец с горчицей да круто заваренный чай, куда брошен брусничный лист, – Коляй и закинул удочку:

– Слушай, мам, давно хотел спросить у тебя...

– Ну-ну, ответ-то позже вопроса летит.

– Все какое-то золото нам приписывают...

– Ох, да глупости! – отмахнулась старуха.

– Нет, постой, – Коляй и есть перестал, – я, когда маленький был, тоже про золото слышал. Отец с тобой говорил.

– Золото-то золоту рознь. Это когда было? Когда рак на горе еще не свистел.

– Значит, было золото-то? – удивился Коляй.

– У кого – было, а у нас – не было.

– Не пойму, – пожал плечами Коляй.

– Чего тут понимать – не было у нас с отцом никакого золота. В годы-то, когда ты еще не родился, отца из-за этого золота чуть пулей не порешили. Подавай демидовское золото, и все тут!

– Где его взять-то, если нет? – подыграл Коляй матери.

– В том и дело. Слышали звон, да не знают, где он.

– А в чем звон-то?

– Да в том, Коляй ты мой глупенький, что золото было у деда нашего, твоего прадеда, Прокопия Прокопиевича Комарова.

– Вот так да! – воскликнул Коляй. – Было все-таки?

– А как не быть-то, – сказала мать. – У него и золото водилось, и многое чего другое тоже. Он же золотоискатель у нас первый считался...

– Так-так...

– Чего «так-так»? Пришли однажды из-за Азов-горы лихие люди, деду голову проломили, дом-пятистенки спалили, золото да другое богатство – с собой, а там и были таковы. Весь и звон-то.

– Интересно, – покрутил головой Коляй. – И ведь никогда мне не рассказывала.

– Не спрашивал – и не рассказывала. Да и золото – грех о нем говорить. Деньги людей портят, душу растлевают.

– Выходит, я правнук золотоискателя?

– Выходит, так.

– Надо же! – Коляй присвистнул. – А у меня никакой его жилы. Ну, не ворожит меня золото, и все тут. Вот же гадство!

– В чем и счастье твое.

– Да, история... Ох, прадед! Ох, сукин сын! Дела творил – а нам теперь аукается.

– Крутой старик был. Крутой, – покачивала головой на тонкой морщинистой шее старуха, будто соглашалась с сыном.

– А бумаги какие остались?

– Зачем тебе? – насторожилась мать.

– Да геологи интересуются. Шахты будут обновлять, прииски. Может, что пригодится.

– Бумаги какие были – те огнем в трубу вылетели. Когда отца стращали, тогда и бумаги сгорели. Полный сундук был – вместе с сундуком все огнем изошло.

– Точно, мам?

– Ну, ты еще спрашиваешь.

– Кабы меня на век назад воротить, интересная штука – кем бы я был, а? – почесал лоб Коляй.

– Да дурачком бы и был, – простецки разрешила вопрос старуха.

– Ты что, мать?

– А чего? Дурачок-то – он первый человек на Руси. Иные все на нет исходят, а на нас земля держится.

Пили они чай до поздних сумерек, до вечерней звезды. Хорошо им было вдвоем, нам бы там посидеть...

А дальше потекла у Коляя жизнь прежняя, налаженная. Утром чуть свет – на работу, вечером – домой. Работа всегда была ему в радость; она лечила его, иной раз вознося душу на такую высоту, что Коляй стыдился этого. Усталый, опустошенный, возвращался домой, ужинал, а потом до ночи возился по хозяйству. Верным помощником отца был Гошик, Дуняшка помогала ему с меньшей охотой.

Баню, как и прежде, Коляй топил теперь сам. Таскал из Чусовой воду, заливал в кадки, нагревал котел, распаривал веники, скреб пол от грязи и копоти, выветривал лишнюю влагу...

Борова к ноябрьским решили заколоть, а Стешу оставить. Пудик – другой боров должен был еще нагулять, поэтому отруби Коляй покруче замешивал с картошкой; толлок в ведре все это так, что боров не замечал, как и ел. И все время был голодный...

Стешу Коляй жалел, ухаживал за ней особенно нежно. Не было дня, чтоб он не убрал у нее, не подстелил свежей соломы, не подмыл бы у нее вымя.

Как-то раз Коляй заметил, что куры стали нестись хуже. Разгадал загадку только тогда, когда за сараем в крытом ящике нашел камень-гальку, цветом и формой напоминающую яйцо. В этот-то ящик и неслись куры. Не стал Коляй следить, кто таким способом приваживал кур (и без того знал – Маруся, конечно), гальку выбросил, а ящик убрал в сарай.

Частенько Дуся с Марусей задумывали теперь новые наряды, и Коляй не скупился, давал на наряды деньги. А что ему деньги? Деньги – рабские оковы для миллионера, а для рабочего человека они необходимость. Будет счастлива Дуся – будет и Коляй счастлив, и Дуняшка, и Гошик...

Гошик – молодец, не отходил от отца ни на шаг. Дуняшка – та нет, последнее время сторонилась отца.

Однажды Дуся сказала Коляю:

– В магазине демисезонные пальто выбросили. Как раз мой размер.

– Да? Ну, что ж... – ответил Коляй.

– Сто рублей есть, – продолжала Дуся. – Дай еще двести.

– Двести? Да у меня нет, – признался Коляй.

– Ну да – нет! – не поверила Дуся. – Опять жаться стал?

– Честное слово, нет, – поклялся Коляй.

– Тогда у матери возьми. У нее денег много.

– Откуда?

– Ладно зубы заговаривать... А о золоте забыл?

– Да ты что, Дусь, всерьез?

– А чего тогда милиционеры шастали... геологи разные... начальство? Дыма без огня не бывает.

– Я же тебе объяснил...

– Знаем ваши объяснения! На золоте живут, а щи деревянной ложкой из худой кастрюли хлебают. Куркули!

Коляй потемнел лицом, стиснул зубы, желваки заиграли на скулах.

– Не скрипи зубами-то, не скрипи! Не страшно! – все более высоким и визгливым голосом стала кричать Дуся.

Чтоб не разругаться и чтоб не случилось новой беды, Коляй развернулся и хлопнул дверь.

И пошел к матери. Денег у старухи Татьяны не было, но двести рублей она дала. Из заветных трехсот рублей выделила, которые отложила давно на черный день, на смерть свою и похороны.

Коляй принес деньги домой, швырнул на стол:

– На, подавись!

– Вот так-то лучше... – усмехнулась с презрением Дуся.

Утром с Дуняшкой случилась истерика. Коляй собрался на работу, есть не стал, хмурый, молчаливый, хотел было уже выйти из дома, как Дуняшка подскочила к нему и начала отчаянно колотить его острыми кулаками в грудь:

– Ненавижу! Ненавижу!..

– Что, что такое?.. – бормотал опешивший Коляй, невольно оседая на стул.

– Почему ты терпишь, почему?! Она издевается над тобой, а ты... ты...

– Что ты, успокойся... – Коляй пытался обнять Дуняшку, но она не давалась, с отчаянием била ему в грудь кулаками, повторяя:

– Ненавижу, ненавижу!..

– Эх, Дуняшка, – неожиданно расслабился Коляй, и ему стало совершенно все равно, кричат ли тут, плачут, бьют ли его в грудь. – Вот и ты... Эх, Дуняшка, глупая ты моя, глупая...

Тон его слов серпом подкосил дочь, она упала на колени, расплакалась, разрыдалась в истерике.

– Дуняшка ты, Дуняшка, – повторял Коляй, глядя дочь по пушистым мягким волосам. – Ничего ты еще не понимаешь в жизни, ничего. Не в этом во всем счастье, не в этом...

– А в чем? В чем? – молила его глазами дочь, подняв к нему зареванное, истерзанное, ставшее совсем взрослым лицо.

Сёстры

Сказание о русских женах

Сестре Лоре

Глава 1

Полина

...Полина только усмехалась; Варвара – мать Варвара – и ворчала, и ворчала, и то не так, и это не так, все равно помирать, на кой черт затеяла переезд этот, вот она, веревка, как уедешь, Полина, так на этой веревке и вздерну себя: уж лучше там, в адовых вратах, чем здесь, в иудиных хоромах, тьфу!.. Полина слушала и усмехалась: неожиданно у нее возникла одна идея... Идея эта была так проста и хороша, что Полина удивлялась, как такое не пришло ей в голову раньше. И вот усмехалась – скорее от радости, чем прислушиваясь к ворчанию старухи.

Мать Варвара сидела на узлах посреди комнаты, в туго повязанном на голове цветастом платке, в просторном, довольно потрепанном платье, поверх которого была надета сначала шерстяная, пегого цвета, безрукавка, а затем одна кофта – магазинная, со скатавшимся от времени седенько-пепельным ворсом, а другая – домашняя, вязаная, которую Варвара носила, казалось, не снимая ни днем ни ночью, – подарок Полины. На ногах у матери Варвары, несмотря на жаркое лето, были натянуты теплые темно-коричневые чулки в резинку, и, хотя она сидела в войлочных полусапогах и ступней ее не было видно, Полина была уверена, что поверх чулок мать Варвара обязательно надела шерстяные, грубой вязки, носки, – от старости или, может, от вечной боязни простыть и заболеть, она всегда одевалась чересчур тепло, отчего выглядела неуклюжей и, что хуже всего, даже неряшливой.

Полина, нисколько не боясь, что мать Варвара может что-то сделать над собой, потому что она уже много раз грозилась посчитаться с этим светом вчистую, Полина решила тут же, не откладывая дела в долгий ящик, сделать то, что надумала. А именно – съездить в совхоз к отцу, Авдею Сергиевичу, всего-то двадцать километров отсюда, от поселка, – полчаса езды на автобусе.

– Ты вот что, – строго сказала она матери Варваре, растащив узлы по углам, – я сейчас обернусь мигом, надо мне по одному делу... А ты смотри не дури, разбери пока вещи, по шкафам разложи... Учти, вернусь не одна – с гостем; чтоб все чин чином было. Новоселье-то надо отметить, а? – И усмехнулась-улыбнулась.

– Новоселье я тут отмечу, как же... говорю тебе, Полина, вот она, веревка, как уйдешь, так и вздерну себя. Не увидишь меня больше живой...

– Попробуй только помри! – пригрозила Полина. – Из петли вытащу и выпорю, помани мое слово!

– Как это – выпорешь? – неподдельно удивилась мать Варвара.

– А возьму вот этот ремень, видишь – он кожмитовый, тонкий да хлесткий, да ка-а-ак начну хлестать по одному месту...

– По мертвой-то?

– А что? И по мертвой. Может, совестно тебе станет, к тебе гости пришли, а ты висишь, как дура стоеросовая. Авось сама слезешь – от стыда да от боли.

– Так ведь я мертвая буду...

– Ничего, оживешь. Оживешь, как миленькая... Так что лучше и не затевай, самой же стыдно будет. Поняла?

– Тьфу на тебя! – озлилась мать Варвара.

На этом разговор их окончился, Полина подхватила сумочку и, щелкнув дверным замком, выпорхнула из квартиры.

Дом, в котором поселилась нынче мать Варвара, – пятиэтажный, блочный, выкрашенный по замыслу поселкового архитектора в желто-белые тона – клетка желтая, клетка белая и так далее, – дом этот находился несколько на отшибе от поселка и поэтому представлялся, особенно издали, то ли разноцветной игрушкой, то ли бутафорией. Во всяком случае Полина слегка подтрунивала над матерью Варварой: «Заживешь королевой теперь. Дом-то, как дворец, разукрашен, а ты все недовольная...» На что мать Варвара скороговоркой отвечала: «Плевать мне на дворцы ваши, плевать, плевать...» Полина, правда, не обращала никакого внимания на ворчание матери Варвары: если б ее слушать (с давних, ох с каких еще давних пор тянется эта ниточка старухино характера!), так тогда бы уже пришлось либо в злобе иссохнуть, либо руки на себя наложить... И черт его знает, что за характер такой! Однако, привычная к ее характеру настолько, что уже не реагировала и не выделяла его среди других, Полина безропотно выносила любые его причуды и выкрутасы, так что со стороны, если посмотреть небыстрым глазом, могло показаться, что характер у матери Варвары даже золотой, потому как Полина вокруг старухи разве что не пляшет – уж так, кажется, заботится о ней, боготворит и любит ее! С другой стороны, почитание это иной раз представлялось притворным, потому что Полина нередко без всякой причины и умысла помыкала старухой, говорила с ней грубо, откровенно, без обиняков. В общем, отношения между ними были непростые...

Оглянувшись на дом раз, другой и третий, Полина побежала окраинной дорогой в центр поселка, к автобусной остановке, продолжая затаённо улыбаться. Никто, слава Богу, не встретился из знакомых, не хотелось отвлекаться на пустые разговоры и расспросы, хотя в душе у Полины, в сокрытой тайной глубине, как будто пела какая-то струнка, ищущая отзвука, чужого понимания, – все-таки Полина переломила мать Варвару, заставила, как та ни упиралась, переехать в новый дом, а то ведь стыдно уже людей... На этот раз Полина просто-напросто не выдержала, примчалась из Свердловска – мать Варвара сидит посреди двора, на черном, почти в дёготь, бревне, широко расставив ноги и бросив на подол заскорузлые, не отмытые от назёма руки, – как возилась в огороде, так, видно, и во двор пришла, не ополоснув их хотя бы в бочке, которая издавна стоит у них под водосточной трубой; взгляд тусклый, жива ли, мертва, не поймешь, но как услышала Полинину ругань, глаз у старухи – правый глаз – прям-таки засверкал жаром и ненавистью... «Левый-то глаз у тебя, – не раз в сердцах говорила Полина, – недаром как мертвый, потому что сердце закаменелое, злобное...» – «То-то и оно, что сердце у меня, может, по правую руку, не как у вас, балбесов, а ты и не знаешь этого, дура...» – не оставалась в долгу старуха.

Короче говоря, встреча с матерью Варварой получилась, как всегда, не из радостных. Но какое это имеет теперь значение? Сейчас главное – надо ехать в совхоз, к отцу Авдею Сергеевичу, вот и автобусная остановка уже показалась, да и автобус как раз выруливает на посадочную площадку.

Время было – чуть за полдень, народу в автобусе в самую меру – ни лишку, ни мало, стекла по правую сторону были приспущены, так что под мирный пассажирский говор, монотонный гул «пазовского» мотора и свежий струистый ветерок, желанно лившийся из окон на разомлевших от жары пассажиров, дорога, казалось, сама собой, легко и непринужденно катилась вперед. За поселком, за южной его окраиной, дорога нырнула в низину, где повсюду нынче разросся бурьян да репей, – были и тут когда-то дома, самые близкие к заводу и поэтому, как считалось, самые удобные: вышел из дому, а заводская проходная – вот она, не надо и тратить время на дорогу... Металлургический завод, к которому, как дитя к соскам матери, прилепился когда-то поселок, был некогда самой важной, самой существенной частью всей поселковой жизни, десятки лет только и страсти было, как борьба между тремя уральскими сопер-

никами – Северным, Верх-Исетским и Нижне-Салдинским заводами. Чугун, сталь, прокат – вот три кита, на которых стояла жизнь и самый смысл существования поселка... Но пришло время, и рядом с металлургическим взошли, как опять вокруг матерого пня, корпуса нового – трубного завода, который поначалу лишь на цыпочках тянулся за своим старшим братом, даже лучше сказать – отцом, затем нагнал его, а там и перерос, да так сильно, что нынче металлургический завод уже ничто, а трубный – вся жизнь поселка Северный, со временем ставшего, пожалуй, небольшим городом. А пустырь, заросший теперь репьем да бурьяном, а кой-где коноплей, среди которой летними утрами и вечерами поселковая ребятня охотилась с садками за разнопёрыми, в ярких одеяниях щеглами, пустырь этот тоже некогда был поселком, но расширяющимся корпусам трубного завода требовались новые площади, и часть поселка снесли, оголив землю под фундаменты цехов. Однако фундаменты возводить не торопились, а затем и вовсе перенесли на другие земли, на пять километров южнее искусственного пустыря – поближе к прудам, вода которых так была нужна трубному производству... Осиротелая земля, некогда живая из живых, цветущая и плодоносящая, осиротела вдвойне, поросла диким разнотравьем, среди которого живо и радостно бежала лишь лента плотно укатанной, будто утрамбованной проселочной дороги. Дорога эта соединяла северную часть поселка с южной (вместе они и составляли, собственно, небольшой город), а дальше дорога текла к совхозу, к молочным и животноводческим фермам, еще дальше – в леса, в далекую глушь, за которой, казалось, начиналась исконная дикая Русь; на самом деле и там не было никакой дикости, а были дивные лесные и горные озера и пруды, где со временем наладили кооперативный отлов промысловой рыбы – от тщедушных окуней и щук до царственных сазанов и карпов.

Где-то на исходе третьего километра обширного дикого пустыря дорога прибавалась к пруду и бежала обочь его извилистого, поросшего кувшинкой и тростниковой осокой берега, и вот тут-то начинались корпуса трубных цехов... На ближайшей остановке из автобуса, распаренные и разморенные, вышли почти все пассажиры – ехали на работу, на завод. «Это ты одна лентяйка, – подмигнув Полине, крикнул с дороги молодой, щекастый, с веселыми глазами и густыми, выгоревшими до белесости усами мужик, – ездешь-катаешься, а мы вот вкалывать... Эй, слышь меня! Эгей!» – и рассмеялся. Полина, еще в автобусе почувствовав на себе его заинтересованный взгляд, но ни единым движением не идя этому взгляду навстречу, – мужику-то? да ну их в баню, одна только маета с ними! – теперь, когда автобус тронулся с места и озорной мужик стал неопасен, вдруг тоже весело крикнула в окно, помахав бедолаге рукой: «Иди, работай, иди, усатик ты наш миленький! Заработаешь чего – тогда поговорим!...» И оглянувшись, и долго смотрела вслед убегающей дороге, на краю которой продолжал стоять веселый, а теперь расстроенный, огорошенный своей бестолковостью мужик: «Раньше надо было подвалить, эх, раньше...»

Миновав заводские корпуса, дорога бежала уже не среди пустыря, а среди соснового леса – с одной стороны, а с другой, естественно, продолжался пруд; это был самый девственный, тихий и радостный осколок дороги, сюда еще не добрался человек ни со своим жильем, ни с производственными заботами. Свежезеленый – будто умытый – молодой сосняк переходил в густой сосновый бор, который волнообразно, словно перед тобой морская стихия, растекался и вдаль, и вишь, и самое замечательное – ввысь. Впечатление это возникало оттого, что лес не просто растекался в разные стороны, он залил собой, заполонил все видимые глазу горы, которые сами по себе были не велики, не высоки, но тем не менее это были горы – исконно уральские, основная линия которых – в холмообразной бесконечности, сливающейся в конце концов с горизонтом. Горы и леса, а справа от дороги – струящаяся на солнце, блистающая гладь пруда – вот чему радовался сейчас глаз Полины да, пожалуй, и всех других пассажиров, оставшихся в автобусе. Там, в поселке, когда садишься в автобус, у тебя одно состояние – несколько возбужденное, голова полна мыслей, а сердце – забот, но постепенно дорога как бы примиряет тебя с жизнью, и особенное согласие с ней чувствуешь именно здесь, среди неба,

леса, воды и гор... Покой и мир сами собою вливаются в твою душу, и жизнь не кажется больше бесконечной борьбой за мнимые ее блага...

Вот в таком состоянии, несколько идиллическом, несколько успокоенном и уравновешенном, и вышла из автобуса Полина, когда приехала наконец в южную часть поселка. Здесь, на конечной остановке, в старой, хмурого вида, обшарпанной и неухоженной церкви, расположился поселковый автовокзал.

Полина быстро пересекла привокзальную площадь, разом расплескав недавнее благодушное состояние, и шаг у нее, как прежде, стал тверд, решителен, выявляя обычную для нее силу, даже непоколебимость характера. Для своих сорока лет Полина, пожалуй, была несколько грузновата, но грузноватость эта шла от широкой кости, от мощной отцовской, а еще дальше – дедовской породы. В ней ясно чувствовалась эта порода, и дело тут не просто в физической силе, которая исходила от всей ее размашистой, широкой и вольной фигуры, дело было в другом: в ее поступках, в твердом и смелом взгляде, каким она встречала любую, даже самую тяжелую и трудную новость, в открытости и смелости слов, которые она говорила для того, чтобы высказать свою мысль, а никак не спрятать или утаить ее, тем более – не смалодушничать перед кем бы то ни было. При всем при этом, считая себя вправе говорить только правду, какой бы горькой она ни была, Полина сердечно жалела всех людей без разбору, и нередко случались нелепые сцены, когда человек, только что обруганный ею или услышавший от нее праведные, но вовсе не желанные для себя слова, с оторопью или даже ненавистью встречал неожиданные слова сострадания, жалости или понимания со стороны Полины. Изничтожает, а потом жалеет, – не каждый принимал это за чистую монету, и кое-кто считал ее за обычную дуру, кто-то – за рёхнутую, а некоторые – за двурушную. По-разному относились люди к Полине, но понимать ее, пожалуй, мало кто понимал. То-то и странно было для нее...

Животноводческая ферма начиналась почти сразу за поселком; метрах в двухстах от окраинных его домов тянулись длинные бараки с загонами для коров, огороженными длинными жердями-пряслами. Рядом с фермой пристроился небольшой хуторок из нескольких домов, в одном из них и жил отец Полины, Авдей Сергеевич Куканов. Когда-то он работал на металлургическом заводе, потом оказался здесь, на ферме (а как оказался, про то история особая); но оказался, конечно, не случайно и прижился в конце концов в доме однофамилицы своей, вдовы Кукановой Елизаветы, попросту Лизки-говоруньи. А что Лизка-говорунья была тоже Куканова, удивляться нечему – Кукановых в поселке, как гольянов в пруду, чуть не на четверть водилось. У Лизки-говоруньи рос сын, и иначе как Петька-сорванец никто его на ферме не звал. Доставалось от него и Авдею Куканову, «приемному Куканышу», как дразнил его Петька-сорванец. «Эй ты, приемный Куканыш, а ну-ка догони!» Или по-другому еще кричал: «Эй, Куканов-приемыш, айда опарышей ловить!» Лизка-говорунья сладить с сыном никак не могла, а Авдей Куканов, тот больше молчал, молчать он любил, а если когда и разговаривался отчаянно, так это лишь в перепалках с Варварой, в старой своей жизни, в бытность рабочим на металлургическом заводе. Но как ни молчал Авдей Куканов, а не кто иной, как он, все же урезонил Петьку-сорванца. Уж так тот изгалялся над «приемным Куканышем», так дразнил да подначивал, что однажды Лизка-говорунья не выдержала, расплакалась на глазах у своих «мужиков» – от обиды за Куканова-старшего. И вот этого, слез Елизаветы, не смог простить Петьке-сорванцу Авдей Куканов. Неповоротливый-неповоротливый, а тут вдруг изловчился, хватить Петьку-сорванца за рубашонку (Петька, размазня, растерялся от материнских слез: «Чего она? Вот дура!»), и, как ни крутился Петька, Авдей преспокойно подтащил его к пряслам, взял хворостину, больше похожую на добротное удилице, уложил сорванца на берема непиленых дров да и угостил хорошеньким деревянным медком, ничего не говоря, не приговаривая, а только лишь ахая да приставывая от старания. Петька молчал; извивался поначалу, пытался укунить «приемного Куканыша», да не тут-то было – Куканов-старший хорошо знал свое дело, так что Петька вскоре смирился, лежал ничком, молчал, только вздрагивал да охал в нахлёт

ударам: сначала, замахаясь хворостиной, Авдей ахнет, потом, отведав хворостины, ахнет Петька-сорванец. А закончилось дело, как ни странно, полным примирением сторон. Получив свое, Петька, не заискивая, не унижаясь, степенно подтянул штаны, поправил рубаху, взглянул смело в глаза «приемному Куканышу: «Ну, дядька Авдей, – сказал он, – я думал, ты просто прилипала, а ты, оказывается, ничего пахан!» Авдей было усмехнулся победно, но вовремя задержал ухмылку в губах, почувствовав серьезность момента. И понял еще, что перед ним не сорванец, не хулиган, а настоящий мужик, с характером, хотя было Петьке в ту пору лет девять, не больше. Как говорится, не ударишь – не полюбит, – такая среди мужиков присказка ходит насчет своих жен. Так и с Петькой получилось: пока Авдей характер не показывал – был для Петьки ничто, а поучил пацана хворостиной – сразу «паханом» сделался, право получил на уважение и признание. С тех пор меж ними было полное взаимопонимание; ну, не без срывов, конечно, на то и прозвище к Петьке приклеилось – сорванец. Позже уже, когда «сорванец» этот служил в армии, он письма писал не столько матери, сколько ему, Авдею Сергеевичу, признал его за отца, а зачины писем были постоянны: «Здравствуй, отец Авдей Сергеевич! А также большой привет от меня матери!..»

Первое время, когда Авдей оказался на ферме, работать устроился механизатором. Позже стал скотником. Еще позже, с открывшимся ревматизмом в ногах, – сторожем. Сторожем работал поныне...

Полина застала отца дома; только он, видно после ночного дежурства, полулежа-полу-сидя дремал на топчане, в заветном закутке близ печи. «Дыхание стало сбивать, – говаривал он не раз, объясняя, почему спит полусидя, – дышать трудно. А так вроде полегче...» Когда хлопнула входная дверь и Полина вошла в дом, отец, не меняя позы, не шевельнувшись, привычно открыл глаза – сторож всегда, даже если спит, глаз и слух держит начеку – и, узнав Полину, успокоился, вновь прикрыл глаза.

Полина, окинув намётанным взглядом жилье отца – грязновато, конечно, неухоженно, – тут же, не сказав отцу и слова, подхватила в углу веник, совок, побрызгала немного на пол водицы и давай для начала замечать к печи мусор.

– Ну, приехала опять – пыль подымать... – пробурчал, не открывая глаз, Авдей Сергеевич; пробурчал скорее ворчливо, чем недовольно.

– Не болеешь ли? – не обращая внимания на слова отца, просто спросила Полина, продолжая свое дело.

– А ты вылечить можешь? – усмехнулся Авдей Сергеевич.

– Да ну тебя! – махнула рукой Полина и, закончив подметать, выскочила в подворье, налила из бочки ведро дождевой воды, стянула с забора ссохшуюся каракатицей половую тряпку и легко, с полнёхоньким ведром влетела в дом.

Авдей Сергеевич уже привстал с лежанки, сидел на топчане, свесив босые ноги над крашеным полом, зевал; Полина, скинув блузку и закатав подол юбки («Отца бы постыдилась», – тем же ворчливым тоном пробурчал Авдей Сергеевич, на что Полина, нимало не стеснясь, брякнула: «Поди и нагишом видал, не растаешь, твоя кровиночка...»), начала замыывать полы. Доски еще были крепкие, дюжие, а главное – тщательно покрашенные, пропитанные олифой, – заблестели как умытые, как только Полина прошла по ним даже и по первому разу. А мыла Полина всегда в два приема, так что, когда прошла по досочкам еще раз, вся изба, казалось, засветилась ровным солнечным светом, – пол был выкрашен в тугой желтый цвет и, помытый, начинал словно гореть внутренним жарким огнем. Отец, осторожно обходя Полину – а работала она всегда широко, размашисто, не дай Бог попасть под горячую руку, еще и шлепнуть может шутя мокрой тряпкой, – зашел в закуток, который считался кухней, – печь, да стол, да пара табуреток, да крохотное окошко, глядящее на огород, – включил электрическую плитку, поставил чайник. Заглянул в осколок зеркальца, висевший тут же, на кухне, и, взяв расческу, привел в порядок бороду; на голове, пожалуй, упорядочивать было нечего: почти

голый, блестящий череп, а вообще – большая окладистая седая борода да пара вьедливых, углистых, серьезных глаз – вот и весь облик Авдея Сергеевича Куканова.

– А что, Полина, – уже веселей проговорил отец, – Женька-то твой жив-здоров, не хвораёт?

– Чего ему сделается, – тяжело, с придыханием – работает ведь, – ответила Полина. – Целыми днями на улице пропадает, – и, переведя дыхание, отжала тряпку. – Ох, и балбе-е-ес растёт, ну балбес...

– Это вот и Петька жалуется. А я посмотрю, нисколько Серега не хуже отца, Петька-то сорванец похлеще был, куда там...

– Как живут-то они? – спросила Полина, сдувая мокрую прядь со лба.

– Да как живут... так и живут, – хитро ответил Авдей Сергеевич. – Живут да любят, ругаются да мирятся.

Полина рассмеялась:

– От нашего недалеко ушли. Ох-хо-хо, грехи наши...

Закончив с мытьем полов, Полина принялась протирать пыль, облазила все потаённые местечки и уголки («Ну, Мамаево побоище...» – опять проворчал отец, на что Полина не обратила и внимания), и вот, кажется, не прошло и получаса, как появилась на пороге Полина, а изба будто обновилась, ожила, задышала уютом, светом и чистотой. Изба, конечно, у Авдея Сергеевича была невелика: какходишь – направо кухня, а прямо по ходу – одна-единственная комната: и спальня тебе здесь, и столовая, и гостиная... Причем кухня от комнаты отделялась не столько стеной, сколько русской печью, которой отец гордился и ни за что не хотел ломать, хотя на ферме не раз предлагали провести в дом паровое отопление; особенно настаивал на этом Петька, Петр Петрович Куканов, ставший к этому времени заведующим фермой, женившийся, естественно, и окончательно отделившийся от Авдея Сергеевича. (А Елизавета, Лизка-говоруня, лет семь как померла...) Настаивал-то Петька, видно, потому, что стыдил себя за Авдея Сергеевича: все люди как люди живут, у всех удобства, тепло, у него самого, у Петра Куканова, квартира не хуже городской будет, а отец на тебе... Одно выручало Авдея Сергеевича – уважал его Петька, особенно не тормозил; как началось еще уважение с давних пор, с памятного угощения хворостиной, так и продолжалось поныне...

Авдей Сергеевич заварил крепкого, «как самосад», говаривал он сам, чая, и хотя Полина не была настроена гонять чай, совсем другое было на уме, но тут она с радостью согласилась: не посидишь с отцом спокойно, не поговоришь степенно – считай, зря приезжала, ничего от него не добьешься. А тут – тем более – дело такое деликатное...

Говорили о том о сем, Полина раскраснелась – поначалу от работы, а теперь еще от заваристого чая, пышущего ароматным духом крепости и сласти, и отец Полины то ли любовался ею, то ли просто радостно чувствовал в ней свою породу, во всяком случае смотрел на нее веселым, лукавым, как бы даже подначивающим взглядом: ну-ну, посмотрим, на что ты еще мастерица, поглядим... А когда услышал между прочим, что Полина в это лето успела побывать у Зои, у сестры, это черт-те сколько от Урала будет – тыщи километров, то и в самом деле удивился. Тут удивление-то было не только в том, что побывала, а что подхватила как угорелая в отпуск за свой счет и айда мотаться по России, в далекую Зоину сторонушку...

– Знать, пригорело там, – усмехнулся Авдей Сергеевич. – Вот Варвара бы и поехала, так нет, все тебя черти носят.

И Полина, почти счастливая (но не показывая этого), что разговор повернулся в эту сторону и что отец сам помянул имя матери Варвары, как бы между прочим обронила:

– А здоровье?

– Чье здоровье? – не понял Авдей Сергеевич.

– А здоровье у матери Варвары? Каково ей ехать-то?

– Да она здоровая, как лешак, а то я не знаю... – Голос у отца сразу зазвенел твердостью и неудовольствием.

– «Как лешак»... – передразнила Полина. – И откуда только слова такие берутся?

– А из души, – обронил Авдей Сергеевич.

– «Из души»... – опять повторила его слова Полина. – А сам небось уж сколько лет не видал ее?

– Кого? Душу-то? – усмехнулся, но не весело, а недовольно отец.

– Да не душу, а мать Варвару.

– А я думал – душу. Душу-то людскую попробуй высмотри. Вот как плюнут в нее – тут она сразу на виду делается...

– Так и не плюй на других.

– Это я, значит, в кого плюнул?

– Да ни в кого, а так, к слову...

– Если ты о Варваре говоришь, так на нее я плюю и даже извинения не прошу.

– Отец...

– Вот тебе и отец! – Глаза у Авдея Сергеевича налились темным угольковым светом – сразу стал виден весь его строгий, непримиримый характер; попробуй обхитри, свороти такого.

Но Полина и сама была характером в отца, решила – раз уж настала такая минута, не надо и кривить душой, а лучше выложить в конце концов, зачем к отцу пожаловала; сам-то он не спросит – гордый, куда там...

– Из Свердловска-то я знаешь зачем приехала? – спросила Полина после некоторого молчания.

– Откуда ж знать... – поуспокоившись, но все еще ворчливо проговорил отец.

– Мать Варвару перевозила.

– Куда перевозила? – не понял Авдей Сергеевич.

– Дом-то наш совсем сгнил, жить невозможно, а тут как раз под снос попал. Завод расширяется, площади нужны под новые цеха. Дали матери Варваре квартиру однокомнатную; вот приехала, перевезла ее...

– А я при чем?

– При чем, при чем! – вспыхнула Полина. – Что вы как звери окаянные. А при том... думала, может, съездим к ней, посидим, новоселье отметим...

– И это ты мне говоришь?!

– Тебе. Кому еще.

Авдей Сергеевич как-то оскорбленно-осуждающе, будто пристыживая дочь, покачал головой:

– Эх, как ни кругла бабья голова, а все же больше на кочан капусты похожа... Да чтоб я к Варваре поехал?! Я?! Да ты ответь, на кой хрен она сдалась-то мне? Ну?

– Так и помрете врагами?

– Да не враг она мне, не враг. А так – тьфу! Пустое место. Поняла или нет?

– А я-то думала, ты хоть к старости смягчишься... Как сычи, спрятались по разным углам. Сидят, лупят глазами, эх, ну и люди!

– Я ни от кого не прятался... Я, как видишь, живу здесь, у всех на виду, кому надо – двери мои всегда открыты. А что ты с этой выжившей из ума возишься – это твое дело. Доброе-то слово от нее слышала хоть раз в жизни? Ты ей – и то, и это, и пятое, и двадцатое, и в квартиру вон новую перетащила, а она небось опять тебя костит?

– Костит, – охотно согласилась Полина, чтоб хоть как-то разрядить разговор, и улыбнулась покаянно – рассеянно.

– И поделом тебе! – тряхнул седой бородой Авдей Сергеевич, но в глазах его – это было видно – угольки несколько поугасли, подернулись успокаивающей дымкой.

- А чаю-то нальешь еще? – улыбнулась Полина. – Или все, наконец осердился?
- Эх, Полинка ты, Полинка, добрая душа... – совсем, кажется, отходя от гнева, проговорил отец, взялся за чайник, налил сначала крутой заварки, а потом плеснул кипятка. – Женьку-то чего не везешь сюда? Лето!
- Да в лагерь на днях поедет. А сюда его, хоть тресни, калачом не заманишь.
- Не любит нашенские места?
- Да разве в том дело? К бабке, говорит, приедешь – ворчит на деда, к деду приедешь – чтоб о бабке ни слова не скажи...
- Подрастет – разберется, – безразлично обронил Авдей Сергеевич. – Какие его годы...
- Да и Борька, дурак, тоже его науськивает. Перед тобой, говорит, светлая чистая жизнь, а там ты как в яме какой... Берегись, Женька, стариков да старух, из ума выживающих...
- Муж твой, Борька-то, сразу видать – человек серьезный, почтительный.
- Смеешься, что ли?
- А нисколько... Уважение-то в чем? В том, чтоб что думали, то и говорили. Правда – она человека не уронит. А потом ты на себя посмотри...
- Ну? – не поняла Полина и даже чашку отставила в сторону, оглядывая себя.
- Мечешься, как белуга угорелая, и там, и сям, аж под кошкин срам заглядываешь («Ну уж!» – махнула Полина рукой) – повсюду дерьмо хочешь вычистить, а ты скажи – получается?
- Получается, получается...
- А вот Борька твой тебе и говорит: не в том утеха, чтоб стариков мирить, а чтоб жили люди всяк на свой лад...
- Да никогда он такого не говорил!
- Не говорил? Зато об этом вся жизнь его говорит.
- И чего ты его всегда защищаешь? Мужика моего?
- Вот из того самого, что муж он, – усмехнулся Авдей Сергеевич, – из солидарности.
- А мать-то Варвара, знаешь, что говорит? Уедешь, Полина, в Свердловск – возьму веревку да и вздерну себя.
- Авдей Сергеевич хрипло, долго, от души смеялся над этими словами; даже прослезился:
- Да никогда она не повесится! Ты сам ее повесь, выбей у нее табуретку из-под ног, убедись – все, конченная, а зайди хоть через десять минут – она уж в углу на табуретке сидит, живёхонькая, глазёнки мелкие горят, и вот поливает весь белый свет... «Чего это ты, Варвара?» – спроси у нее. А того, скажет, веревки еще такой на меня не сделали, чтоб я с ней не управилась, тьфу на вас, окаянных...
- Полина, слушая долгую эту тираду отца, слегка наклонила в изумлении голову и сначала непонимающими, а потом веселыми, а еще потом – смеющимися глазами смотрела на воодушевленного своей речью отца. Чудные все же эти старики, ей-богу – чудные... С одной стороны на них посмотришь – вроде такие, с другой – совсем иные, не похожие ни на Бога, ни на черта, ни на ступу с кочергой...
- Ну, спасибо хоть – успокоил, – проговорила Полина. – Я-то ведь не на шутку встревожилась: мать Варвара, она с норовом, выкинет еще номер – тебе же потом хоронить придется.
- Мне, что ли? – не понял Авдей Сергеевич.
- А кому еще? – нарочно с серьезным видом удивилась Полина.
- Э-э, нет... – погрозил отец пальцем. – У ней Зойка есть, зять, внуки да твоя еще семья – хватит народу, чтоб запихать, куда следует, с почетом.
- А ты – даже и венок не принесешь?
- Не то что венок, а и знать не хочу, живая она или мертвая! Помрет – пускай сама с собой разбирается.
- А к живой, значит, в гости не поедешь?
- Снова осердить меня хочешь?

– И спросить нельзя?

– Спрашивала – ответил. Ты там как хочешь с ней, а я такую женщину, как Варвара, не знаю и знать не хочу.

– Ладно, поняла. Спасибо за угощение. – Полина поднялась с табуретки, засобиравлась домой.

– Еще и обиделась? – удивился Авдей Сергеевич.

– А хотя бы и обиделась, но ехать надо. Сначала к матери Варваре, а там и в Свердловск, домой. Дела-то не ждут...

Авдей Сергеевич покорно проводил Полину до ворот, приостановил чуть, нарвал в огороде гороху и бобов, сунул дочери.

– Женьке там отдашь... Извини, угощение не богато...

– Да чего там! – махнула рукой Полина. И, чуть задержавшись у калитки, выпалила скороговоркой: – На всякий случай запомни: улица Metallургов, дом 15, квартира 6.

Отец пропустил ее слова мимо ушей, спросил свое:

– К матери-то не забегала?

– В другой раз, отец. Сегодня вряд ли успею.

– К Варваре время находишь шастать, а до матери руки не доходят, конечно...

– Мама простит: живым нужно наше участие.

– Мертвым, понятно, ничего не нужно.

– Забегу, отец, забегу. Не в этот, так в другой раз... Ну, до свиданья! – И чмокнула отца в щеку.

Глава 2

Варвара

Дом Ильи Сомова прилепился к самой окраине поселка. Дочери Ильи, Варвара и Катерина, перед самой войной совсем заневестились, особенно старшая, Варька: время ее подкапывало к девятнадцати годам. Девка она была с норовом, темная волосом – почти вороного крыла, глаза бесовские – с глубоким донным отливом, в которых то густо, а то еще гуще плавилась, казалось, сама чернота. Характером вышла взбалмошная, своенравная; Авдюшка Куканов, который ухлестывал за ней, и мучился с Варварой, и проклинал ее, а отстать не мог – приворожила. Девка – она ведь чем неподатливей да дурней норовом, тем сильнее не то что парня, а и мужика к себе влечет. Будто самой природе, самой жизни хочется такому парню или мужику доказать, что нет, не выйдет с ним такое, сломит он хребет девке, переиначит на свой лад, заставит плясать под свою дудку. А вот и месяц прошел, и два, и год, и второй покатился, а девка не поддается: и делать с собой что хочешь дает, кроме главного, и твоя она вроде, с тобой ходит, гуляет, тебе время свое драгоценное – вечернее девичье время – отдает, а уверенности у тебя никакой. Руки, губы, тело – все рядом, а душа – Бог знает, где только она витает у нее. Да и есть ли вообще душа у Варьки?

Одно удобно – дом Сомовых на краю поселка, дотемна ли бродишь или, может, вовсе не хочет тебя видеть сегодня Варвара, ходить да миловаться, – потихоньку проводил ее к калитке и был таков – никто тебя не видел, ни позора твоего, ни твоих крадущихся шагов, никто вслед не прошептал зло, не крикнул насмешливо: «Кукушонок вон, бес его возьми, опять по ночи шастает, на девок оружие свое оттачивает...» К тому же и нрав у Ильи Сомова, отца Варьки, был похлеще дочериного, только и сказал однажды ей: «Принесешь в подоле – убью!» – а отсюда вывод: не любил он, когда дочери его по вечерам в гулевань ударялись. Не любил, понятно, и Авдюшку Куканова. Не потому, что не нравился ему парень, наоборот – по дневному-то делу он ему по душе был: спокойный, хозяйственный да и не дурак к тому же, – а вот по ночному, по тому, что в темной да зрелой ночи может натворить с его старшей дочерью, девкой дурной и заполошной, – тут Илья Сомов не мог себя превозмочь, опасался, косился на Авдюшку Куканова настороженным глазом, ждал подвоха, а то и подлости. Потому что, рассуждал он здраво, были бы у парня серьезные мысли, не прятался бы по огородам да не кукарекал у калитки (позывной такой у них с Варькой был: ку-ка-ре-ку-у!), а пришел бы сам к Илье Сомову, сказал бы: так, мол, и так, – а еще лучше – сватов заслал, глядишь бы – и породнились с отцом его Сергием...

Только не знал Илья Сомов, что заковыка-то была не в Авдюшке Куканове, а в Варьке. Вертела она им, как хотела, а на самую его главную мольбу – пойти за него замуж – бросала особо насмешливо, даже зло: «Дурень ты, Кукушонок, не люблю если – так это тебе не слаще оглобли покажется...» Так что Сомов Илья, косясь на Авдюшку Куканова, делал это зря.

Поселок у них в то время был хоть и рабочий, но все же напоминал скорей большую деревню, особенно по окраинам. Металлургический завод, некогда основанный здесь знаменитой уральской династией купцов и заводчиков Демидовых, особого размаха не получил, имел не более чем областное значение, не разрастался, и заводской люд, как это всегда бывает при небольших фабриках и заводах, был наполовину крестьянской закваски, а еще точнее – имел собственное натуральное хозяйство: здесь и коровы, овцы, куры, гуси, огороды, делянки, покосы... отсюда и особая психология большинства посельчан: завод заводом, там, конечно, план, смены, металл, но здесь, дома, ты сам себе хозяин, огород не вскопаешь, сена не накопишь, считай – зиму не проживешь, семью не прокормишь...

И нравы в поселке, и говор, и обычаи, и сам ритм жизни – все, пожалуй, так и продолжалось во времени: полудеревенское-полугородское. Никого это не удивляло, не расстраивало:

что естественно, то хорошо и разумно. И поэтому, когда в никем и ничем, казалось бы, не примечательном поселке появилось несколько не просто новых, а совершенно других, другого склада и вида, людей, может, даже из самой столицы, как поговаривали, поселчане разом и возгордились, и насторожились. Люди эти и в самом деле из Москвы – военспецы, каких никогда не бывало на их заводе. Толков и слухов о будущей войне, как и по всей России, хватало, конечно, и у них, но теперь, когда не где-нибудь, а в их забытом богом поселке, на небольшом заводике появились военные специалисты, – тут поселчане призадумались. И пока они думали и по закоренелой полудеревенской привычке чесали лбы, жизнь продолжала катиться вперед, и так вскоре эта жизнь притерла военспецов к нравам и ритмам поселка, что вскоре и перестали на них обращать внимание. Хотя помнили, конечно, помнили о них – суды да пересуды о войне что-то не утихали сами по себе, скорей наоборот.

Одно оказалось неудобство в поселке – не было в нем гостиниц; не то что гостиниц, даже захудалого какого-нибудь дома для приезжих – и того не было. Больше того, поселчане и не представляли, что такие дома, оказывается, где-то существуют. Пришлось военспецов распределять на жилье по домам рабочих – где получше, почище, где поудобней. Дом Ильи Сомова, например, выбрали именно по третьему признаку – где удобней. Как срубил его Илья когда-то, так он и стоял – окраинный и как бы одинокий, – дальше в ту сторону строить не разрешали, потому что неподалеку начинались цеха. А раз совсем рядом были цеха, Егор Егорович Силантьев, старший военспец, и выбрал для себя дом Сомовых: днем ли, ночью ли, утром – завод всегда рядом. Выделили Егору Егоровичу маленькую, но опрятную (с окнами на завод, с одной стороны, с видом на огород – с другой) комнату-«малушку», и с тех пор в доме Сомовых – необычное для них дело – поселился чужой человек, «жилец». Пока что привыкли они к Егору Егоровичу!..

А Егор Егорович Силантьев, хотя и военспец, оказался человеком мягким, добрым, правда, малообщительным, но это его качество все понимали и уважали: во-первых, у военных всегда есть свои тайны, а во-вторых, он ведь человек не как все, не поселковый какой-нибудь и даже не из Свердловска – а из самой Москвы, из далекой загадочной столицы, – чего ему особо разговаривать с поселчанам, о чем?

Неразговорчивость Егора Егоровича, правда, имела другую причину, но это выяснилось гораздо позже. К тому же старший военспец был настолько поглощен заводскими делами, настолько весь, как говорится, ушел в металл (задачей военспецов было – найти особый режим плавки для производства специальной, высокопрочной марки стали), что неразговорчивость Силантьева можно было объяснить и занятостью, и усталостью, и просто нерасположенностью после трудового дня к пустым разговорам.

– Что ж не жалеете-то себя, – вздохнет, бывало, глядя на него, как на сына, одинокого, безродного, неутешного, Евстолия Карповна, хозяйка дома. – Почернели совсем...

Егор Егорович, задумавшись и как бы слепо вглядываясь в какую-то одному ему известную, заветную точку в окне, забыв о ложке с супом, которая на полпути ко рту застыла в воздухе, вздрагивал от слов хозяйки, но не смущался, а только хмурился, будто становился недоумен собой.

– О себе теперь думать преступно. – И слова его звучали жестко, твердо, совсем не похоже на его мягкую добрую натуру.

– Стало быть, вы полагаете, Егор Егорович, – вставлял свое слово Илья Сомов, стараясь говорить степенно, умно и грамотно, – война с немцем надвигается? Или, может, другое что в этом роде?

– Да, война, – коротко отвечал Силантьев и, словно выйдя из забытья, принимался хлебать щи.

– А я говорю – никакой войны не будет! – неожиданно выпалила однажды Варька и смело, как бы поддразнивая военспеца, устала наклоненную над щами фигуру Силантьева.

– Цыц ты! – прикрикнул на старшую дочь отец; младшая, Катя, от испуга и стеснительности сидела, опустив глаза.

Егор Егорович оторвал взгляд от тарелки, набрякшие его веки – было видно – с трудом поднялись вверх, и он с непониманием, с тяжелым осуждением взглянул на Варвару.

Варька выдержала его взгляд; глаза ее искрились озорством, вызовом, лукавством и той особой, счастливой беспечностью, которую недаром в народе окрестили: молодо – зелено.

Вот так они и смотрели друг на друга – глаза в глаза, лицо в лицо. И Силантьев не выдержал, вдруг легко согласился с Варькой:

– Ну, значит, не будет... – И улыбнулся странной своей, мягкой и доброй улыбкой давно уставшего, мудрого человека, принявшего на себя все заботы о несчастных, заблудших людях, улыбнулся удивительной своей улыбкой так, что с этой секунды что-то перевернулось в девичьей душе Варьки...

Варька, независимая, гордая, бедовая девка, которая только и делала, что смеялась всегда над парнями, смеялась тем больше, чем больше нравилась им (Авдюшку Куканова, к примеру, совсем иссушила, сделала глупым ручным теленком, каким тот по характеру и по природе своей вовсе никогда не был) – эта взбалмошная девчонка извела наконец, что такое душевная, необоримая тяга к другому человеку; из тяжелых, серьезных, умных глаз Егора Егоровича будто влился в девственную и слепую пока душу Варьки сладостный ток чувственного томления; томление самого Егора Егоровича, по всей видимости, было иного рода, разрядом или рангом выше обычной чувственности и личной эгоистичной любви, его томление было думой о людях, сопряженной с состраданием к ним, к их скорым, возможно, тяжким и лихим испытаниям, он как бы заранее любил всех, всех прощал, всем воздавал, оставляя в себе самом всеобщую грусть и тоску, аккумулируя эти чувства в душе – один за множество людей, как некий избранник слепой, но вполне реальной могущественной судьбы. Вот эту печать Силантьева – избранность его – Варька не поняла, нет, но почувствовала, на нее дохнуло неотразимой мощью человеческого духа. Как будто Силантьев – это недостижимая вершина, а она, Варька, где-то глубоко в пропасти, но в глубину и бездонность ее пробился луч помощи, поднял Варьку на свое светоносное крыло, вызволил из пропасти и понес, понес, закружил, даже дух у Варьки перехватило!..

Однако сам Егор Егорович, конечно, не сознавал, какой властной и губительной силой оглушил вдруг Варькину душу; дел-то всего для него было – взглянул на девчонку, посмотрел ей внимательно в глаза и улыбнулся. Улыбнулся и, может быть, даже забыл о Варьке, хотя какое-то время перед глазами у него стояла ее лукавая, озорная, беспечная улыбка-вызов. Что с нее возьмешь – девчонка, с сосредоточенной печалью решил Силантьев и, наскоро покончив с обедом, заторопился на завод.

На завод они всегда ходили вместе – Илья Сомов и Силантьев, отправились вместе и на этот раз.

– Пойдите, меня подождите! – крикнула Варька, но отец махнул рукой: «Не барыня – ждать тебя...»

Варька и сама толком не понимала, почему вдруг бросилась за ними, – та осиянность, которой одарил ее Силантьев всего лишь одним внимательным взглядом своих серых печальных глаз, то трепетное и чувственное томление, которым через край были наполнены ее душа и тело, словно требовали теперь, чтобы она, Варька, была всегда рядом с Силантьевым, даже не так – чтобы Егор Егорович находился всегда в виду ее глаз, где-то рядом – слышимый, чувствуемый, осязаемый. И вот она бросилась за ними – просто от испуга: как же так, она-то вот где, здесь, а они, он, Егор Егорович, уходит, исчезает, – это невозможно!

Отец с Силантьевым ушли, а мать Варвары, бросив на дочь внимательно изучающий взгляд, полуспросила-полуудивилась:

– Чего это ты, девка? Иль сама на завод дорогу не знаешь?

Варьке, странное дело, захотелось ответить матери что-нибудь грубое, резкое, но тут к ней подошла младшая сестра Катя, всегда такая ласковая, обняла за плечи: «Пойдем, Варя», – и Варька сразу успокоилась, только сверкнула на мать глазищами: вечно ты лезешь, когда тебя не спрашивают!

Варька, надо сказать, частенько ругалась с матерью: была в Евстолии Карповне какая-то елейность, неискренность, что ли, и Варька, став взрослой, чутко слышала в матери эту фальшивинку, и чуть что – у них с матерью шум, гам, ссоры. Катя была для матери гораздо больше по душе – ни слова грубого, ни взгляда косого, однако сама Катя была сердцем на стороне Варьки: ее восхищала Варькина прямота, смелость, бесшабашность. Только что окончив десять классов, Катя еще нигде не работала (а пойдет, конечно, на завод – обычная жизненная дорога большинства поселъчан), Варька же рассчиталась со школой, как она сама посмеивалась, еще в прошлом году – сестры были погодками – и работала теперь в листопрокатном цехе, ученицей на сортировке, и хотя, если хотела, работала горячо, неистово, разряд ей никак не присваивали – срывалась, начинала грубить то бригадиру, то мастеру, натура такая... попала шлея под хвост – и понеслась Варька вскачь, как дурная кобыла. Так ей в цехе и говорили иной раз: «Кобыла ведь уже, но до чего дурная, а?..»

Варька с Катей вышли из дома и только было направились на завод, к ним из-за забора, усмехаясь и посмеиваясь, больше от робости, чем от наглости, вынырнул Авдюха Куканов.

– Привет честной компании! – громко поздоровался он, но вся его бравада, громкий голос, легкое постукивание прутиком по сапогам, начищенным до блеска черной ваксой, все это было напускным, ложно-панибратским.

– Дай прутик-то – поприветствуем тебя! – вместо игривого «здравствуйте-пожалуйте» ответила Варька, и обе сестры, переглянувшись, озорно рассмеялись – так прямо и прыснули.

– А чего, на, постегай. Попробуй! – Широко улыбаясь, Авдюха протянул Варьке прутик.

– И не заплачешь? – Варька, даже глазом не моргнув, перехватила из его рук прутик.

– А ты испробуй! – отважно предложил Авдюха, подставляя спину, и даже, ерничая, ловким движением выдернул из штанин низ рубахи, оголил спину. Спина у него была видная – широкая, мускулистая, с мощным хрящом-позвоночником, который, как кряж, бугристо разрезал широкую долину спины. С такой-то мощью да силой ему, конечно, легко давалась работа на заводе – вторым подручным сталевара, на котором, естественно, лежала немалая физическая нагрузка.

И вот тут, в эти секунды, замахиваясь прутом, Варька и осознала (ее как бы пронзило), что такое главное она должна сделать в своей жизни... Не это вот, дикое и скоморошное дело, тьфу на него, на Авдюшку Куканова, хотя можно и хлестануть его пару раз – так, для остротки, из озорства, да еще чтоб не хвастался, и она в самом деле хлестанула его – да от души! – раза три по широкой спине, – но самое главное: она должна отвоевать Силантьева у жизни, завоевать его, она знает, поняла теперь, как сделать это, и чего бы ей ни стоила любовь – пусть хоть в тартарары потом, хоть к черту на рога, ей все равно...

И Варька, занятая этими мыслями, как бы даже не совсем поняла, что произошло вдруг: Катя, что так не похоже на нее, резко, с болью перехватила Варькину руку и даже не проговорила, а простонала:

– Да ты что, Варька, сдурела?! Ты что это?! Ты же прутом его, прутом... – И глаза ее налились слезным тихим укором, а чуть позже пролились две-три слезинки, как ни сдерживала себя Катя.

Разогнувшись, заправив рубаху в брюки, Авдюха Куканов с удивлением смотрел на Катерину.

– А чтоб в другой раз не хвастался, – хотела легко отмахнуться от разговора Варька, но младшая сестра продолжала крепко держать ее за запястье. – Ну,пусти ты, очумела, что ли... –

дернула рукой Варька и, повернувшись к Авдюхе, проговорила презрительно: – Тебе вот за кем хороводить-то надо, за Катькой. А ты все за меня, дуру грубую, цепляешься.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.